Раиса Коршунова

ЗАЦВЕТУТ ЕЩЁ САДЫ, ЗАЦВЕТУТ!

Повесть

(главы 1-5, продолжение следует)

Озёрск, 2023

Вместо предисловия

О БЕССМЕРТИИ

Памяти отца

Настойчивый путник идет по дороге,
Кончаются хлеб и вода,
Деревенеют усталые ноги,
Но в этом ли, право, беда?

Сердится ветер, навстречу безжалостно
Листьев охапку махнул,
Но путник упрямый забыл об усталости –
Песенку вдруг затянул.

Спешит он к задуманной в юности цели
И верит, что должен дойти –
В цветах чтобы яблони густо белели,
Садам бы вокруг расцвести.

И помнит он твердо живое от веку
Присловье, что тот не умрет,
Кто сад посадил, воспитал человека,
Иль жизнь положил за народ!

Глава 1
Почему меня зовут Лиляной?

Меня разбудили осторожные шаги и негромкие голоса. Скрипнула дверь палаты – санитары внесли на носилках раненую, до подбородка закрытую белой простыней. Я не могла разглядеть ее лицо – оно было почти все забинтовано. Когда женщину стали осторожно перекладывать на койку, раненая застонала. Чудная легонькая кукла с марлевым лицом лежала напротив меня. А жива ли она? Может быть, тогда она застонала в последний раз? Если бы я могла встать и подойти к ней...

Тревожные мысли не дают мне покоя. Они, эти мысли, становятся видимыми и ощутимыми: откуда-то появляются крючковатые, землисто-серые щупальца, тянутся к моему лбу, пробираются под череп и давят на мозг. Это больно. Я начинаю метаться. В моем сознании светлым лучиком блестит только одно: позвать сестру или санитарку. Обязательно позвать. Разве трудно? Стоит только нажать голубенькую кнопку на стене. Но, оказывается, это не просто. Кнопка упрямится, она выпрыгивает из-под пальцев и дерзко щурится голубым глазком-пуговицей.

Я закрываю глаза и исчезает все. Остается только кукла. Маленькая кукла с белым марлевым лицом. Надо лишь нарисовать карандашом глаза, нос и рот, и тогда можно будет играть «в панки». Да, конечно, – это новая моя «панка». Вот она протягивает ко мне тряпочные руки. Почему-то по лицу моей «панки» растекается темно-бардовое пятно. Я вскрикиваю.

Появилась медсестра, что-то говорит мне, дает лекарство. Все сразу проваливается куда-то, пропадает.

… Проснулась я оттого, что дежурная сестра, потормошив меня, протянула градусник. Уже утро. Голубеет за окном. Хорошо бы сейчас поглядеть на улицу, дотронуться ладонью до влажного запотевшего оконного стекла и увидеть как крупные капли стекают по пальцам на пол. Душно. И моей соседке тоже душно. Как она

себя чувствует? Вот чуть-чуть пошевелилась забинтованная голова, послышался глубокий вздох.

Больно ей? Или она уже не чувствует боли? Кто она? Какое у нее лицо? Пытаюсь представить его, но ничего не получается.

…Медленно тянутся длинные часы. Наконец, моя соседка приходит в себя. Вот она вскинула руки поверх одеяла, пошевелила пальцами. Интересные у нее руки – узкая кисть, чуть проступают жилки на тыльной стороне ладони. Руки упрямо изучают одеяло. Им тяжело, рукам, они устают, отдыхают, а потом снова вздрагивают длинные пальцы, подминая жесткий ворс одеяла. Руки тянутся к подушке, ощупывают ее, дотрагиваются до марлевой повязки на лице, слегка поправляют ее, подталкивая кусочек ваты, выбившейся из-под бинта, а потом падают как подстреленные и замирают. Женщина не говорит ни слова, не поворачивает головы.

– Она слепая… – с ужасом догадываюсь я.

В тот же день от санитарки узнаю, что соседку мою зовут Елена Михайловна Федорова. Она – подбитый фашистами пилот. Герой Советского Союза.

* * *

Проходит несколько дней. Лена Федорова молчит. Иногда только несколькими словами перебросится с медсестрой или санитаркой, и все.

Я по-прежнему наблюдаю за ней. Чуть-чуть вздрагивают пальцы, когда она проводит ладонью по одеялу. Подолгу смотрю на ее руки – такие они красноречивые. У кого это я читала, какими выразительными могут быть человеческие руки? Толстой? Бальзак? Да, конечно. Вспомнились еще новеллы Стефана Цвейга. И вот я увидела сама и поняла, что глубокое человеческое чувство могут раскрыть иногда не глаза, не взгляд, не лицо, а кисть руки и пальцы.

Мы еще не разговаривали, но я уже многое узнала о характере этой летчицы. Какие же они изменчивые – ее тонкие сильные руки – ласковые, нежные, покорные или вдруг жесткие, упрямые,

беспощадные. Вот они сжимаются так, что белеют косточки – проклинают. Потом пальцы бессильно разжимаются и лежат на одеяле – почти безжизненные, с посиневшими ногтями. Проходит время, и оживают руки – они тихонько гладят жесткий ворс одеяла. Живут. Ласкают. Мучаются. Утешают. Протестуют. Борются.

Я жду, когда эта летчица заговорит со мной. Она знает, что нас в палате двое. Чувствую себя очень скованно, лежу и не знаю, чем заняться. Мне кажется, что любое мое дело может причинить этой ослепшей летчице глубокую боль. Если я стану читать, то шелест страниц напомнит ей о непоправимом. Если начну шить или вышивать, она услышит скрип иголки, и это глухой болью отзовется в ее сердце. Ведь все – и книги, и шитье, и человеческие лица, – все теперь отнято у нее. Собственное ранение мне кажется пустяком по сравнению с тем, что переживает эта женщина.

Наконец она спросила:

– Ты кто? Как зовут тебя? Тяжелое ранение?

Я ответила, что зовут меня Лиляна Орлович, на фронте была санитаркой, потом машинисткой в штабе дивизии. Кем до войны была? Студенткой. Училась в Московском университете. Факультет? Исторический. Начала учиться на третьем курсе. Ранена в ногу. Лежу привязанная к кровати в буквальном смысле слова.

– А как зовут Вас, я знаю, – Елена Михайловна.

– Давай сразу будем говорить друг другу «ты». И зови меня Леной.

Мы немного помолчали. Потом снова заговорила Лена:

– Любопытная вещь получается – лежим рядом и не видим друг друга. Расскажи о себе. Какая ты внешне?

Я начинаю что-то мямлить: рост выше среднего, глаза серые, волосы светлые...

– Нет, не вижу, – жестко перебивает Лена. – Не получается.

Тонкие пальцы ощупывают забинтованное лицо. Вздрагивают.

– А я… Хочешь посмотреть какая я … была?

Лена начинает шарить вокруг себя, тянется к тумбочке,

которая стоит у изголовья, резко распахивает дверцу. Нервно перебирает пальцами, нащупывая кнопку на отвороте большого коричневого планшета. Щелкает кнопка.

Шуршит целлофан. Пальцы быстро разворачивают что-то. И вот уже с обгоревшей по краям фотографии смотрят на меня веселые симпатичные лица. Молодой человек с петлицами летчика, блондин с озорными глазами и темноволосая девушка с тонкими чертами лица.

– Это мы с мужем в день свадьбы. Он погиб…

– Лиляна, Лиляна… – задумчиво говорит Лена. – Имя не русское. Почему? Оригинальничали родичи?

– Им бы не пришло это в голову. А имя у меня болгарское.

– Интересно, – совсем по-девчоночьи протянула Лена. – И как же и где для тебя его раскопали?

– Это длинная история.

– А нам с тобой теперь спешить вроде некуда, – горько заметила Лена. – Расскажи.

– Ну что ж…

А дело было вот как.

Шла Гражданская война. К отряду красноармейцев, который отражал натиск белополяков, «прибился» однажды белорусский паренек Яшка Орлович. Шел Яшке в ту пору восемнадцатый год. Расспросил его командир, кто он такой, да почему в отряд просится. Видно, отвечал Яшка, как полагается – потому и оставили его в отряде, и винтовку дали. Не пожалел командир, что взял паренька – хорошо знал леса в округе молодой боец и оказался незаменимым проводником, когда случалось отряду пробираться по белорусским топям и болотам.

Был Яшка тихим и замкнутым, а исполнительность и аккуратность его всегда в пример ставились. Близких друзей у Орловича не было. Разве только болгарин Дмитрий Попов. Болгарин смешно говорил по-русски и вроде бы стеснялся, что ли, своего акцента, а потому все больше молчал. С Поповым Яшка

чувствовал себя хорошо – в походе шагают рядом и молчат, на привале устроятся где-нибудь под деревом, принесет Яшка котелок с варевом, похлебают из общего котелка, перекинутся двумя-тремя словами, и весь разговор. Такая дружба была.

А в бою, случилось, спас болгарин Яшку от белогвардейской сабли. Яшка после памятного боя бросился, было, с благодарностью к Дмитрию, а тот только улыбнулся: ничего, в другой раз ты мне на помощь придешь.

В отряде удивлялись этой странной дружбе. В самом деле, – болгарину под тридцать, а Яшке нет и восемнадцати. Попов – большевик с дореволюционным стажем, успел уже в царской тюрьме насидеться за политику. Дрался он с белыми не только за Советскую Россию, но и за будущую Советскую Болгарию. А Яшка... Что – Яшка? В тонкостях политических несилен, а чувствовал сердцем, что великая правда на стороне этих людей в краснозвездных буденовках.

Прошло немного времени, и бойцы заметили, что Дмитрий разговорился – все рассказывает да рассказывает Яшке о чем-то, смешно выговаривая русские слова. Поначалу и понимать его не всякий мог, а Орлович – тот хорошо понимал. И винить болгарина не за что – не успел он как следует русский язык выучить, занимался он в тюрьме, да вот – в отряде.

Бойцы удивились, когда узнали, что Дмитрий Попов, сын богатого помещика, отказался от отцовской помощи, когда учился в Петербургском университете. Отец проклял его, а сын не вернулся в Болгарию, остался у нас – делать революцию.

Прошло несколько месяцев, и болгарин хорошо уже говорил по-русски. Да и чему удивляться? Родные наши языки – от одной славянской ветви. И услыхали тогда бойцы о таком, что прямо дух захватывало: как люди раньше жили, и какие звезды на небе, и как потом, после победы над белыми, жить будем. Очень много знал болгарин. Что и говорить – ученый человек, университет заканчивал, когда его в тюрьму упрятали.

Особенно любил Яшка слушать о революциях и очень

удивлялся, что наша революция не первая на земле – были они и в Англии, и во Франции, только малость не такие. Социалистическая – наша первая. Правда болгарин толковал что-то о Парижской коммуне, но Яшка не совсем о том понял.

О себе Дмитрий говорил мало. Один только раз рассказал Яшке, что есть у него в Болгарии невеста. Зовут Лиляной. Простая девушка. Крестьянка. Красивая, видно, эта Лиляна. Пять лет как расстался с ней Дмитрий, а забыть не может. И Лиляна – тоже. Передавала весточку со знакомым студентом, что ждет.

Так проходили дни – в боях, в задушевных разговорах на привалах. Но однажды белогвардейская пуля настигла болгарина. Сразу насмерть. Похоронил Яшка своего друга. Решил, когда закончится война, обязательно будет учиться. Так друг завещал. А в 1920 году прислали родные письмо, что сестренка родилась. Яков упросил назвать ее Лиляной. Не соглашалась сначала мать – нет, мол, у нас в Белоруссии таких имен, но потом уступила сыну – не хотела обижать. Ладно уж – Лиляна, так Лиляна – не важно, как зовут, была бы человеком хорошим. Вот и появилась в маленькой белорусской деревеньке девчонка с необычным для этих мест именем – Лиляна…

Я закончила свой рассказ. Лена не сразу откликнулась. Она о чем-то думала.

– А знаешь, – сказала она, – история этого болгарина, друга твоего брата, чем-то напоминает светловскую «Гренаду». Ты не находишь?

– Правда! Мы с братом тоже не раз говорили об этом. Может быть, оттого «Гренада» и до сих пор осталась моим любимым стихотворением. В детстве я часто читала ее на школьных вечерах. Меня даже мальчишки дразнили Гренадой.

– Рассказывай еще, – попросила Лена.

Я стала говорить о детстве, об учебе в Москве, вспоминала эпизоды из скромных, но нелегких фронтовых моих буден.

– Вот теперь я тебя немножко вижу, – заметила Лена. –

Интересно ты рассказываешь. Написала бы…

– О чем?

– Обо всем, о чем говорим.

– Кому это, кроме нас, интересно? Сколько людей – столько рассказов.

– Ты не права. Это рассказ о нашем поколении, о молодежи сороковых годов двадцатого века.

– Был бы, – поправила я.

– Да, да! Был бы! – раздраженно ответила Лена.

Ну почему ты рассердилась, Лена Федорова? Вот о тебе написать бы. Вышла бы книга.

О поколении… Как это громко звучит. Разве сумеешь написать? Но удивительное дело – Лена толкнула меня на воспоминания, на большие размышления. Это получилось как-то само собой. Как лавина в горах. Идешь по тропинке – все спокойно, но вдруг неосторожная ступня задела какой-то камешек. Он покатился, увлекая за собой другие, и вот уже гремит-грохочет целая река камней. Так и со мной – началось с небольшого разговора, и теперь я вспоминаю всю свою жизнь. Записываю только стихи. Некоторые из них раньше написаны были, а некоторые здесь пишу…

Чуть пахнут известью, карболкой стены,
В окошко льется синий свет.
В палате двое – я и Лена –
Пилот ослепший, для которой нет
Ни звездочек-снежинок, ни узоров,
Что вижу на стекле морозном я…
Дневные разбежались разговоры,
Мечты-кораблики подняли якоря.
В каких бы государствах ни бывали,
К каким бы ни ходили берегам,
Кораблики обратно возвращались
На Родину – к пожарам и снегам. –

Кружат полями черные пожары,
И в черном женщины, и всюду боль и страх,
И кажутся созвездия Стожары
Гвоздями на солдатских каблуках.
Но сердцем видим, как у небосвода,
Войны сметая черный вихрь и смерч,
Встает Победа с крыльями Свободы,
И отступает смерть!

Глава 2
Босоногое детство

Крупными хлопьями падает снег, залепил госпитальные окна и, кажется, нет на свете никакой войны – нет госпиталя, а стоит где-то в лесу маленький домик с голубой сверкающей снежной опушкой на переплетах оконных рам, с мягкой тишиной, с жарко натопленной печкой-голландкой, что несмело вошла в комнату только одним боком, а сама вся спряталась за стенкой. Нет, это не наша с Леной госпитальная палата, – это затерявшийся в таежном безмолвии лесной домик. Нет, это не Лена щелкает шилом по клеточкам металлического трафарета – учится писать методом слепых, – это неведомые мне птицы что-то клюют на диковинных деревьях.

Тишина эта чуткая и напряженная. Спугнуть ее, значит ударить по тем птицам, что деловито щелкают все быстрее и быстрее. Голос человеческий, не мешай! Здесь все заняты своими мыслями, а это иногда важнее даже самых необходимых разговоров.

Лена работает, а я вспоминаю…

Будто снова вернулась я в далекое-далекое полузабытое свое детство. Вижу свою деревню Борки, что прилепилась к самой опушке темного дремучего бора. (Потому и деревня так называется — Борки…)

Будто снова иду по широкому недавно вспаханному полю, будто пахоту эту прибило сначала дождем, потом несколько дней стояло вёдро, и потому можно идти, и ступни не проваливаются в суглинистую пашню. Ох, сколько же труда требует эта земелька – камни и суглинок… Потому и помнится с детских лет мечта: поесть свежего мягкого хлеба с берькой, сладкой и прозрачной. Берька, так зовем мы березовый сок, бывает только весной, ранней весной, когда многие успевают съесть хлеб. Не бывает вдоволь душистого

ржаного хлеба весной. Так и расходятся хлеб с берькой, как луна с солнцем. Хлеб есть – берьки нет, берька есть – хлеба нет...

Детство, детство. Вспышками проносятся отдельные картинки той далекой поры. Мелькают незабываемые блесточки-памятки.

Весна. Это необыкновенно хорошая пора для нас, детишек. На дворе так тепло, что можно бегать босиком и не надо натягивать поверх платья никаких одежек.

И тот памятный день, воскресенье, запомнился мне своим теплом и светом. Я собираюсь на улицу. Я отвернулась, мне совсем уже не нужна широкая печка, что притулилась в углу – что толку в ее теплых кирпичах, когда на улице пригревает солнышко. Не сердись, печка, осенью я снова взберусь на твои кирпичи и буду греть под теплыми рядниками замерзшие ноги. До осени, печка! Теперь тепло на дворе. Выглядываю в окно, а у самого нашего огорода, где на ровных точно разлинованных грядках чернеют вмятины-ямки от недавно посаженного лука, совсем рядом с изгородью – двумя тонкими поперечными жердинками, привязанными мочалой к прямым столбикам – играют в классы девчонки. Ярким солнышком сверкнула подброшенная стекляшка. У меня тоже их много – в жестяной коробке из-под ваксы – синих, зеленых, голубых стекляшек, есть даже одна красная (мама говорила – от лампадки, бабушкиной еще). Сейчас побегу на улицу. Где мои стекляшки? Я уже прыгаю на одной ножке к порогу, звякают в коробке стекляшки. И ноги так славно по полу: шлеп, шлеп, шлеп. Свежевымытый пол холодит босые пятки. Я уже держусь за клямку двери...

– Лилянка! Смотри-ка, кто к нам приехал!

Я застываю на месте, на одной ноге. Кого это разглядела мама? Кто приехал?

Дверь открывается, и я все еще на одной ноге, делаю несколько прыжков в комнату. У порога женщина, очень похожая лицом на маму, и с ней мальчишка – босоногий, давно не стриженый. Это моя тетка Марина и мой двоюродный брат Петрусь. Мальчик прячется за спину своей матери, потом

выглядывает оттуда, косится исподлобья на меня, пытаясь завязать знакомство. Но он совсем еще маленький мальчонка, и я решаю, что играть с ним будет совсем неинтересно. А на улице – девочки, мои ровесницы. Вон как расшумелись. И чему это они там смеются?

Я выбираю момент, чтобы улизнуть из комнаты, но мама стоит у меня на пути.

– М-а-а-а-м… Я пойду?

– Куда, Лилянка?

– На улицу, в классы играть.

– У нас гости, детка. Поиграй с Петрусем.

На лице у меня написано полное несогласие с тем, что говорит мама. Я надуваю губы и собираюсь заплакать. Маме не хочется, чтобы я хныкала при гостях. Она делает веселое лицо и вспоминает, что у меня есть новое платье. Чудные эти взрослые – то не давала, говорила, что измажу на улице. А теперь… Теперь сама несет. Ну что ж! Это очень даже весело, когда новое платье. Я, обрадованная, кружусь и смотрю, как колоколом надувается широкий подол. Искоса поглядываю на Петруся – как, хорошо? Но он безучастно смотрит куда-то в угол. Стоит, ухватившись за край скамейки, что тянется у нас от угла до угла, так крепко уцепился, что я вижу, как покраснели пальцы с черными каемочками ногтей.

– Пойдем на улицу? – зову я Петрика.

– Не-е-е, – тянет он и смущенно глядит на меня, покачивая круглой белобрысой взлохмаченной головой.

Я выжидательно смотрю на незнакомую родню мою, а родня эта посапывает и старательно вытирает рукавом под носом – видно, стесняется. Мне-то хорошо – я дома, и потому смелее. Уже беззастенчиво разглядываю мальчика, критически изучаю его одежду. Ведь на мне новое платье – белое, в голубой горошек. Правда оно перешито из старенькой маминой кофты, но что из того? Я чувствую себя очень нарядной. Теперь мне еще больше хочется побежать на улицу к девочкам, поиграть с ними в классы, а главное – похвастаться обновкой. Но строгий мамин взгляд

запрещает мне даже и думать об улице. Вот и торчи здесь, любуйся, как шмыгает носом незнакомый мальчишка. Родня… Разве родня такая бывает? Вот Валентина – это родня! Какие конфеты привозит… А эти – что?

У меня появляется смутная неприязнь к Петрусю. Мне не нравится его розовая рубашка в крапинку – точно кто мак рассыпал на ней. Отмечаю, что и штанов новых нет у Петрика, иначе не приехал бы он к нам с заплатами. На обеих коленках – по заплатке, как окошечки в скворечне.

– Петрусь, поиграй с Лилянкой, – подталкивает его моя мама. – Теперь в одной деревне жить будете, привыкайте.

– Лилянка, это твой братка двоюродный. Держитесь друг за друга, детки, – вы родня, – вторит маме тетка Марина и добавляет, утирая слезы: оба горемычные сироты, без отцов растете.

Я была совсем маленькая, когда умер мой отец, а Петрусев татка умер недавно. Мне об этом известно, но я очень не люблю, когда большие плачут. Поэтому мне и не нравится жалобный тон тетки и еще больше почему-то не нравится Петрусь. Ну что он стоит как неживой, положив ступню на ступню и тихонько покачиваясь? Это удается ему, потому что он держится руками за скамейку. (Я бы тоже так сумела, если б сразу догадалась...) Босые ноги мальчика – темные, в цыпках. У меня, впрочем, тоже на ногах цыпки. Разве можно весной обойтись без этого?

– Петрусь, а Петрусь, или ты не умеешь играть? – спрашиваю я.

– Умею, – тихо отзывается мальчик.

– Ме-е-е… – передразниваю я своего двоюродного брата. Я прибавила бы что-нибудь еще пообиднее, но замечаю, что мама смотрит на меня строгими глазами. Я замолкаю. А за окном щебечут птицы, чему-то радостно смеются девчонки. Мне нестерпимо хочется убежать.

Мама видит, что мы никак не можем освоиться, и приходит на выручку. Она вспоминает, что где-то в сундуке, в маленькой такой скрынечке, осталось в узелке несколько ложек сахарного песку.

При упоминании о лакомстве у нас с Петриком загораются глаза. Вот если бы каждый день были гости! Мама ставит перед нами потрескавшееся фаянсовое блюдце с сахарным песком на донышке. Тетка Марина кладет перед каждым по куску ржаного хлеба.

– Ешьте, детки…

Темная жесткая огрубевшая ладонь ее ложится на голову сначала мне, а потом Петрику. Петрик ловко увертывается и тянется к блюдцу. Куда девалась его застенчивость! Он наперегонки со мной обмакивает хлеб в сахарный песок.

Мы дружно едим, наслаждаемся этой хрустящей сладостью. На щеки налипли хлебные крошки и крупинки сахара.

Мама замечает, что я нарушаю закон гостеприимства – очень уж увлеклась... Она подходит к нам и дипломатично проводит «границу» по остаткам лакомства. Я быстро съедаю свою долю и гляжу Петрику в рот. Моя родня, как истинный крестьянин, привыкший все делать не спеша, но основательно, медленно и аккуратно подносит ломоть хлеба к блюдцу, крепко прижимает этот ломоть к сахарному песку, и, подняв, любуется, как пристали мелкие прозрачные крупинки к мякоти хлеба. Затем маленький мужичок с наслаждением жует. Я глотаю слюну. Не могу больше. Просто стыдно, но у меня нет терпения смотреть, как лакомится Петрик. Я сержусь. Лучше бы мне бежать на улицу. А то сиди здесь с этим... родней, жди, когда он вылижет блюдце. Все кипит во мне. Надо очень! А сахарный песок такой вкусный, сладкий...

Я переминаюсь с ноги на ногу, нерешительно придвигаюсь к Петрику и чуть слышно шепчу:

– Петрусь, можно мне... и мне? Я ... трошечку...

Мальчик удивленно поднимает на меня глаза. Ему очень вкусно. На блюдечке осталось совсем немного лакомства, и Петрик хочет продлить удовольствие. Но у меня злые требовательные глаза. Мой двоюродный брат робко поводит плечом, думает. Он понимает, что это моя мама угостила нас. Петрик милостиво кивает:

– Можно… Только маленький разок…

Вот хитрый тихоня! Ну, погоди. Я выбегаю в сенцы – там стоят ведра с водой, обмакиваю хлеб в воду и спешу к Петрусю.

На блюдечке совсем немного сахару. Я опускаю свой влажный ломоть и забираю все. Петрусь сначала ничего не понимает. Он растерянно глядит на пустое блюдце, а потом на меня. Губы его мелко-мелко вздрагивают. Мне становится стыдно, но не могу же я в этом признаться. Прыгаю на одной ножке возле Петруся и преувеличенно бодрым голосом запеваю:

– Обманули дурака на четыре кулака…

– Ай-ё-о-о-о – жалобно тянет Петрусь.

– Обманули… – упрямо выкрикиваю я и чувствую, что веки мои подозрительно начинают чесаться, сейчас заплачу.

– Ай-ё-о-о-о!

Подбежали взрослые. Мама испуганно наклонилась к Петрусю:

– Что ты, хлопчик мой, кто тебя обидел? Лилянка? Ах она большуха!

Петрусь не отвечает. Он только тянет свое «ай-ё-о-о-о», и обиженные глаза его, как две плошки, полны слез. Взглянув на опустевшее блюдце и на мокрый кусок хлеба, моя мама догадывается, что произошло.

– Так вот как ты встречаешь гостей! Он же маленький, беззащитный. Ты же большая! – и шлеп, шлеп, шлеп меня пониже спины. Меня! Этого до сих пор никогда не было, чтобы меня шлепали. А лицо какое у мамы… Словно это не мне, а ей больно и стыдно.

Я реву во весь голос. Петрусь – тоже. И мамы наши плачут. А они – отчего?

* * *

Как много на свете непонятных слов – революция, пятилетка, или, к примеру – колхоз… Что это такое? По-разному выглядят лица тех, кто произносит это новое слово. У председателя сельсовета лицо светлеет, и морщинки разглаживаются, и старая

выцветшая гимнастерка будто новее становится, и словно молодеет человек, и кажется, что с новым словом этим несет он людям тепло и радость, и сам радуется людскому счастью. А у Нестера, отца рыжего Костика, когда он заговаривает о колхозе, в глазах такая злость, как у нашего поросенка, когда он только успел заскочить в огород, а его уже гонишь оттуда хворостиной – он злится, поросенок, и норовит укусить тебя за ногу.

А у мамы моей лицо растерянное и немножко испуганное. И у тети Марины, Петриковой мамы, тоже такое. Не понимают наши мамы ничего о том колхозе, и мы не понимаем.

Приехал бы брат скорее из Москвы. Он нам расскажет тогда что к чему. Яша наш очень грамотный, и, как уверяет мама, все науки прошел, а все учится. В Академии. И что такое академия, да еще военная? Не знаю. Когда вырасту, тоже много буду учиться и тогда растолкую маме, что такое колхоз, чтобы она не боялась.

…Прошло два года с тех пор, как тетка Марина с Петрусем перебрались к нам в Борки. Мы дружим с Петриком, хотя я на два года и старше его. Вот и сегодня вместе будем пасти коров.

Весна… Я очень люблю теплые дни, которые приходят после студеных морозов. Еще бы! С теплом кончается и мое домашнее заточение. Я бегаю босиком, и мама перестала ворчать, что я выросла из ботинок. (Растет девчонка как на дрожжах. Одна у меня, а сколько обуви надо. А что же делать тем, у кого пятеро и мал-мала меньше?) Я слушаю мамины рассуждения об обуви и думаю: хитрая какая. Сама спрятала туфли с пуговочками… На дне сундука, знаю, лежат завернутые в чистую холщовую тряпочку настоящие туфли с коричневыми тоненькими ремешками-перепоночками и с пуговочками. Это подарок Валентины, жены брата Яши. Ох, до чего же красивые туфли, только великоваты немного, а пуговочки... ну прямо ягодки! Но мама не велит мне даже и думать о Валентинином подарке. Вот осенью пойду в школу, тогда и надену.

На улице совсем тепло. Снег сошел, стежки высохли. Тоненькая рябинка у нашего окна побурела – скоро покажутся

молоденькие листочки. На кустах, в маленьком палисаднике, набухли почки. А в хате, у оконца, так тепло, что просто спине жарко – достает солнышко, даже сквозь платье греет. И зачем еще какая-то обувка, когда так тепло? И к чему ботинки или те же туфли? Только тяжело в них. То ли дело – босиком! Можно пяткой вырыть круглую ямку в оттаявшей земле, можно пальцами ноги аккуратно отодвинуть яркое стеклышко, когда в классики играешь, а при игре в лапту… Кто же в ботинках бегает, когда в лапту играет? Нет, весной и летом весь мир ходит только босиком. А мир этот – мои сверстники, все мои односельчане.

Правда где-то там есть еще Москва. Но это так далеко и непонятно, что там люди делают. Видно, все учатся, как наш Яков.

…Я бегу за своей коровой по молоденькой траве босиком. До чего же хорошо! Щекотно только – травинки маленькие, мягкие, а среди них – старые, жухлые – те жесткие, те и щекочут, и колются даже. Корова моя что-то очень уж спешит. Не наедается молоденькой травки, да и мало ее еще – травы-муравы. Скорее бы росла, что ли. Я приглядываюсь, и думается мне, что трава со скрипом дырявит плотную корочку земли и спешит скорее вырасти.

Вот и осталась за спиной деревня. Разошлись по своим хатам наши мамы, а мы торопимся за стадом. Первый день коровы вышли в поле. Они еще никак не освоятся после тесного хлева, после грязи и темноты. Спешат коровы. И мы бежим вприпрыжку – маленькие деревенские пастушки-единоличники. Ноздри наши вдыхают все запахи весны – запах воды, настоянной на прошлогодней осоке, аромат бурой земли, тонкие запахи разнотравья и малюсеньких ярко зеленых листочков на кустах.

…Лес, звеня под вешними лучами,
От весенних шорохов устал,
Говорливый ручеек речами
Кустик низенький заколдовал.
Точно кто-то озорной, веселый
Дымом этот кустик окурил –

И прозрачный и светло-зеленый
К кустику приклеился тот дым.
Точно шелк, трава навстречу свету
Расправляется, шуршит, растет.
А за лесом в ярком платье лето
Выхода торжественного ждет.

У прозрачной опушки леса – привал. Пасутся наши коровы, а мы выбираем себе поляну, где прочно укрепилась уже зеленая щеточка травы, находим пригретые солнцем большие серые валуны и по-хозяйски устраиваемся.

Кто вырезает из вербы свистки, кто разостлал армячок и собрался играть «в камушки», а кто просто, блаженно зажмурясь, подставил свою чумазую мордочку солнечным лучам, сидит прислонясь к большому замшелому камню.

Тоненькими ручейками текут разговоры. Нас волнует то же, что и родителей. Будет колхоз. А как там жить? Кто-то спросил, как будет в колхозе?

– Все будет общее, колхозное.

Это говорит Коля Савчук, по прозвищу Цыган – за курчавые волосы, за смуглый цвет лица. Он года на три старше меня, ходит в школу, и я считаю, что Коля знает очень много.

– Как это – все? – недоумевает Петрусь. – И коровы?

– Вытри под носом, голоштанный, – обрывает Петруся Костя Нестеренок. – И ты туда же… Брысь отсюда!

Огорченный Петрусь идет ко мне и, сопя, усаживается рядом: не принимают его старшие мальчишки, мал еще.

– И поле, и луг, и лес, и коровы – все будет колхозное, – повторяет Коля, по-хозяйски оглядывая зеленую опушку леса, стадо, пашню.

– Сказал тоже! Держи карман! – презрительно выкрикивает рыжий мальчишка. Это снова – Нестеренок, Нестеров Кастусь, или Рыжий Кот, как привыкли мы его звать по-уличному. Он сын сельского богатея. Но сегодня вместе со всеми нами пасет своих

трех коров и телку. Общего пастуха в ту весну деревня не нанимала – непонятное было время. Строился колхоз. Будет колхоз – тогда и пастух будет общий.

Рыжий Кот держится чуть поодаль от мальчишек. Он явно хвастает своим новесеньким ременным кнутом – ни у кого нет такого, даже у взрослых. И рубашка у Рыжего – оранжевая, сатиновая. А мы все – в домотканых. Коту есть пока, чем хвастать, но хвастовство это какое-то ненастоящее. Он вроде бы и задается, и боится чего-то.

Коля-Цыган спокойно оглядывает Костика, точно видит впервые, а потом очень медленно и вполголоса (он никогда, даже в детстве, не разговаривал громко, Коля Савчук) говорит:

– А ты бы, Кот, помалкивал теперь. Все равно отберут у вас добро.

Я вижу, как краснеют у Рыжего щеки, лоб, даже шея.

– Ты что ли? – задыхается Нестеренок. – С этими голодранцами? – выкрикивает он.

И я вижу, как указательный Костиков палец с грязным ногтем тянется ко мне и Петрусю. Ишь, как злится Рыжий Кот. А рука… Короткопалая Костусева рука крепко сжимает дорогой ременный кнут. Он дергает рукой, Рыжий, и кнут сердито щелкает, как живой.

– Ты потише, потише, – спокойно говорит Коля.

– А ты не указывай, таборник!

Костик вскочил и стоит, крепко упираясь пятками в землю, и мне кажется, что Рыжий Кот присосался к земле, как клещ к живому телу. Светло-зеленые глаза Кастуся так и едят Колю. Видно, быть бы драке, да помешала одна из нестеровых буренок. Рыжий увидел, что пятнистая корова спряталась в овраге, сердито сплюнул под ноги Коле и побежал, хлопая своим ременным кнутом. Но Кот не угомонился. Едва только вернулся и, не переведя дух, – к Коле. В кулаке у Нестеренка зажата горсть земли, и я вижу, как тоненькой струйкой течет сквозь короткие пальцы Костиковой руки буроватый суглинок. (Вот так бы и зацапал себе всю землю, жадюга!)

– Подавитесь! – выкрикнул Кот, отряхивая пыль с ладони. – Вам бы все на дармовщину!

– Это нам-то? Ты уж молчи, толстопузый! – крикнул кто-то.

Мальчишки закричали все разом, как мужики на сходке.

– Лилянка, тебе играть, – затормошил меня Петрусь, – ну что ж ты?

Я подбросила камешки, но любопытство взяло верх. Отвлеклась. Проиграла. Петрусь деловито подкинул вверх главный камешек.

– Говорочки вместе, а думочки врозь, – с важностью повторил он где-то услышанную фразу. – Подставляй руку.

И, как полагалось по уговору, Петрусь стал давать мне «горячих с прищипом». Больно. Я морщилась, но не отдергивала руку – отдернешь, добавит еще. Таков уговор. Раз – подбросит Петрусь вверх камешек и ущипнет за руку, раз – и еще так…

Я и не заметила, как мальчишки схватили друг друга за грудки. И вот уже вертятся клубком – только рубашки темно-синяя Колина и оранжевая Нестеренкова мелькают перед глазами.

– Ах, ты кусаться – Рыжий? Я покажу тебе смоленую сову! На ж тебе, на!

Мальчишки бросились разнимать дерущихся, а братан мой Петрусь, забыв о камешках, уже крутился рядом со спинами Коли и Костика, прыгал на одной ножке и тоненьким голоском, но ехидно подпевал:

– Нестеровы дети поехали в карете, у кареты тихий ход, конь хвостом бежит вперед! – И приговаривал: – Дай ему, Колька, пусть хоть разок увидит смоленую сову!

Рыжий, получив в битве последнюю затрещину, вскочил, резко подтянул лямку штанов, воинственно шмыгнул носом и схватил свой ременный кнут. Петрусь смекнул, что Кот может оказаться щедрым – не только сам видел смоленую сову, а может оказать такую честь и кому-нибудь другому, кто помоложе, послабее. Смекнув это, Петрусь шустренько спрятался за большой валун.

А Кот уже бежал за ним, щелкая кнутом. Ж-ж-ж-ик по камню. Рядом со мной. Потом, словно только что увидел меня:

– На ж и тебе, голодраная!

И раз, раз – кнутом, ременным новым кнутом, по моим голым ногам.

– Не смей бить девчонку! – крикнул Коля.

И все мальчишки бросились к нам. Костик хотел было удрать, но Петрусь ловко подставил ему ножку. Костик растянулся, потом вскочил. Здесь и настигли его мальчишки. Началась свалка. Только слышалось сопение, вздохи, всхлипывания, словно кто выполнял нужную работу. Дрались честно – ниже спины не били, зато трещали вихры, да льняные домотканые рубашонки.

– Хватит ему, – скомандовал Коля.

И мальчишки с сожалением отпустили Нестеренка.

– Почему так? Проучить бы еще! – крикнул кто-то.

– Не по правилам. На одного, – ответил Коля. – Он и так запомнит.

Но Нестеренок не стал ждать, что решат мальчишки, – такого задал стрекача, что только пятки – мельк, мельк, мельк. Я прижалась спиной к большому валуну, натянула на ноги со вздувшимися рубцами подол платьишка, а слезы: кап, кап, кап…

Петрусь стоит рядом и только посапывает носом: чувствует себя виноватым. Коля Савчук убежал куда-то, а потом вернулся и высыпал мне в подол пригоршню малюсеньких ярко-зеленых щавелинок:

– Не плачь, Лилянка…

… Детство мое босоногое,
Доброй ты песней пропето,
И безвозвратной дорогою
Ушло, затерялося где-то…

Глава 3
Коммунизм… Это – для человека. Для тебя, для меня, для всех!

Одевая листья и травы в желто-красный наряд, шла по белорусской земле румяная осень. Помню, выдался теплый денек бабьего лета, и мы, девчонки-старшеклассницы, вместо занятий направились на колхозное поле теребить лен. Большая делянка, светло-коричневая от хрустящих головок льна, была выделена нам. Забираешь в ладонь жесткие стебли и тянешь к себе тугую горсть поспевшего льна. Скорее, скорее – спешишь, чтобы не обогнали товарки. Вот уже лоб становится мокрым, прилипли к вискам пряди волос, но разве это главное? Надо торопиться! Ничего, что под подошвами моих поношенных тапок перекатываются мелкие камешки и твердые комки земли. Вот уже бегут за нами небольшие снопики, связанные нашими руками, одиноко торчат оставленные былинки сорняков. Порядочно сделано, но впереди еще целый неубранный клин.

– Что ж так мало наработали, ударницы? – кричит нам Петрусь. – Не устали ручки белые?

Я разгибаю спину, оглядываюсь и вижу – подъезжают, стоя в телеге, наши ребята – Петрик и Коля-Цыган. Коля два года тому назад отлично закончил десятилетку, но не уехал из колхоза, остался работать трактористом. А Петрик в восьмом классе учится.

– Шабаш, девоньки! – важно изрекает мой двоюродный брат. Он старается подражать Коле – говорит по-взрослому – солидно и значительно, но то, что у Савчука получается просто и естественно, не очень-то удается моему братцу.

– Перекур! – снова напоминает Петрусь.

– Некогда! – кричим мы в ответ. – Нам еще вон сколько осталось!

– Ну что ж, раз такое дело – помочь, видно, придется

ударницам, – говорит Коля и становится рядом со мной.

Мне совсем не нравится его насмешливый тон. Я удивляюсь, что он взялся помогать нам – ведь теребить лен испокон веков считается в наших краях исключительно женским делом. Но это же ведь Колька-Цыган. За все он берется, и все горит в его руках.

Искоса наблюдаю, как он сейчас работает. Как и всегда. До чего же жаден до работы! Так и ходят лопатки под выгоревшей рубахой, так и захватывает широкая ладонь большие горсти льна. Шагает Коля так быстро, что я не успеваю работать с ним в темпе. Да разве за ним угонишься! А он незаметно, незаметно отхватывает мою делянку – так, что я сразу резко вырываюсь вперед.

К Коле и Петрусю присоединяются другие ребята, и скоро мы сообща заканчиваем клин и усаживаемся на жесткую осеннюю траву у самой опушки леса.

Я гляжу на пушистые облака, что плывут в голубой бездонной синеве, и забываю обо всем. Любопытно, что они – эти белые, светло-голубые, светло-серые, серо-голубые облака похожи на все – на горы, на диковинных зверей, на уродливых гигантов с причудливо изогнутыми руками-щупальцами, на людей и сказочных богов. Я наблюдаю все это изменчивое великолепие, и мне кажется, что древние греки, именно глядя на облака, и придумали своих богов. Стоит только внимательно вглядеться в причудливые очертания легких белоснежных громадин, как увидишь и могучего Зевса, и ревнивую Геру, и Посейдона с трезубцем. Но это только на какие-то минуты. Горы, люди, звери, диковинные деревья на глазах смешиваются, начинают таять и превращаться во что-нибудь другое. Иногда от громады облаков отрывается небольшой клочок, сначала он потихоньку тянется за остальной грудой, а потом медленно тает. А с человеком не бывает так, когда он один остается?

Из глубокой задумчивости выводят меня голоса. Снова о чем-то спорят наши ребята – Коля Савчук, Васька Тетеря и Петрусь. И как не спорить? Мы уже совсем взрослые. Должно же у каждого

быть свое мнение!

Прислушиваюсь. Снова о политике. А как же иначе?

– Много ты понимаешь! Кулаков надо было выселять. А то они понаделали бы дел, – тихим голосом говорит Коля.

– И не только выселять! Уничтожать на месте! – выкрикивает Тетеря.

Васька-Тетеря – комсоргом у нас в школе, и потому быть политиком высшей категории считает своим долгом.

– Не-е-е, – тянет Петрусь. – Не согласный я. Как это – расстрелять? Выгнать из хаты, выслать на Соловки и то… Люди ж они, хоть и кулаки.

– Ну ты что-то уж жалостно говоришь, Петрусь, – насмешливо возражает Коля. А не помнишь, как Нестеренок стельную корову зарезал, чтобы только колхозу не досталась? Помнишь, как нашли у него две гнилые туши – не успел разделать свинок, в землю закопал, а в тот год в деревне все голодали? А не читал ты, как кулаки стреляли из-за угла?

– У нас не стреляли, – упрямится Петрик.

– Не успели, – доказывает Коля. – А забыл, или тебя не было с нами, когда мы оттузили Нестеренка за то, что с кнутом на нас бросался?

Кот… Рыжий Костя Нестеренок. Вот как вспомнили о нем. Давно нет их, Нестерят, в нашей деревне. Выслали куда-то на север. И где он сейчас, Рыжий Кот? Одиннадцать лет прошло с тех пор, как увезли всю их семью.

– Нет, почему же? Помню я Нестеренка, – отвечает Петрусь. Я тогда маленький был. Давно все было, а помню. И как Лилянку он тогда, кнутом. Ременный такой кнут, новый.

Мне неприятно, что Петрик вспомнил о том, как я плакала. И чего они копаются в прошлом?

– Эй, историки! Вы лучше о настоящем потолкуйте, – спешу я переменить разговор.

– Правильно, – отозвался Васька. – Надо смотреть в будущее.

Ох уж этот Васька. И когда он только перестанет говорить

лозунгами?

– Ты ему про будущее расскажи, – горячится Тетеря. – А то наш Петрусь и не представляет, в какое время живет и что он строит.

– Не подготовил я политинформацию. Тезисов нет, – откровенно издевается Коля, но Васька не чувствует издевки.

– Ты всегда готов лекцию прочитать, – поддразнивает Петрик. – Рассказал бы… И что будет дальше?

– Коммунизм будет!

– А какой он, коммунизм?

– Газет не читаешь, деревенщина. Не знаешь, что ли?

И Васька-Тетеря надулся, точно на трибуну взобрался, и важно стал разглагольствовать:

– Машины работать будут. Пальцем кнопку нажми – и пошла машина, заработала. В белых перчатках на работу люди пойдут. Труда почти не будет. Какой же это труд – кнопки нажимать? Получай по потребности! Всего вдоволь. Вот как люди заживут!

– Ну это когда еще будет, – тянет Петрусь, – а мы…

– А мы? Мы должны гордиться тем, что создаем для будущих поколений счастливую жизнь.

Я гляжу на Ваську. Такой он хорохористый. Невзрачный, белобрысый, а говорит так, что аж трясется, даже оттопыренные уши горят. Дать бы по ним…

– А сами мы? – допытывается Петрик. – Так и не увидим той хорошей жизни? Когда машины на поле... Чтоб лен руками не теребить, а чтоб машина…

– Все тебе и подай! А разве это плохо, отдать жизнь во имя будущего? Пусть на костях наших зацветут красивые цветы будущего!

Ох и путаник этот Тетеря. Чего только не нагородил, связал мох с болотом, все перемешал. Нет, так нельзя! Сейчас дам ему по мозгам.

Но меня опередил Коля.

– Ты все перепутал, дорогой, – спокойно говорит Савчук.

Я вижу, как он улыбается, какие у него красивые глаза – светло-карие, с темным ободком, ресницы длинные и чуть загнутые на концах, такие черные ресницы, точно их тушью нарочно подкрасили. А упрямый тугой завиток темных волос тянется к виску.

– И не на костях коммунизм будет построен, – продолжает Савчук, – а сами люди будут его строить и сами будут жить при нем. И труд обязательным будет. А насчет белых перчаток, глупости. Нужно будет белые перчаточки в кармане носить, если самому машину ремонтировать придется. Запачкаешь их, перчаточки.

– Мастерские будут! – торжествует Васька.

– Мастерские – мастерскими. А гордость твоя рабочая – где, в кармане, что ли, лежать будет? – тихо спрашивает Коля.

– Мы – колхозники, а не рабочие, – встревает Петрусь.

– Это будет почти что одинаково – что рабочий, что колхозник, – говорит Коля. – Но главное… Главное – все в человеке. Коммунизм – это для человека. Для тебя, для меня, для всех.

Коля задумался, помолчал немного, а потом добавил:

– Главное – люди. Добрые друг к другу, помощники. И сады кругом. Вся земля в садах, и счастливые люди в них. И радуга во все небо, цветистая радуга для людей! – озорно сверкнув глазами в мою сторону, закончил Коля.

– Не согласен! – загорячился Тетеря. – Это мелкобуржуазный уклон.

– Ах, Васенька, тебе бы все наклейки придумывать, – кокетничая, произнесла Вера, моя одноклассница. – Расскажи еще, Коля. А любовь какая тогда будет? – и она тихонько хихикнула.

– Помолчи, Верка. Все тебе хаханьки, – одернул ее Петрусь. А работа, труд – как?

– Что я тебе лектор, что ли? – отмахнулся Савчук.

– Нет, ты расскажи, как люди жить будут? – настаивал Петрик.

– Не философ я, – буркнул Коля.

Я поняла, что Цыган очень рассердился на Ваську, но старается не подать виду.

– И все же – как ты себе труд при коммунизме представляешь? – ломался Тетеря. – Известно, что работать – по способности, получать – по потребности…

– Затвердил как сорока, – вставил Петрусь. – Коля, расскажи!

– Ну что привязался, – рассердился Коля. – Не знаю я.

– А как ты сам думаешь? – не отставал Петрусь.

– Сам? Не знаю... Верю только, что здорово будет. Любимая работа – для каждого. А когда она нравится – работа – человек не устает. Вернее, не чувствует усталости и времени не замечает.

– Не скажи, – вмешивается Вера.

– Правду говорю. Знаете, дедушка Рыгор после работы на конюшне придет домой – и в садок. И там еще до позднего вечера возится. То яблоньки осматривает, то кусты смородины и малины охорашивает.

– Так это он от жадности, – замечает Тетеря.

– Замолчи, не перебивай, а то – в ухо! – обрывает его Петрик. Дальше, дальше, Коля…

– А что – дальше? Вот и при коммунизме так будет. Человек разную работу делать будет, и все ему интересно. Как на праздник на работу будет идти.

– А любовь? – спрашивает Вера.

– Уймись ты… – сердится Петрусь.

– Любовь… – Коля искоса почему-то взглянул на меня и замялся. – Любовь... Она тоже красивая будет. Да ну вас! Что я пророк какой?

– А я, – мечтательно говорит Вера, – представляю себе коммунизм так: прихожу в магазин, беру сколько надо платьев, столько, сколько донесу домой. Тащу их, тороплюсь, задыхаюсь.

– Задохнешься… А работать? – улыбается Петрусь.

– Работать? Мне? Да ты здурев, малец! Так меня же в ту пору кто-нибудь все-таки замуж возьмет. Вот он и будет работать…

Все смеются. Я догадываюсь, что озорная Верка дурит, и

понимаю, отчего – ведь рядом – Колька-Цыган – присуха наших борковских девчонок. Я иронизирую про себя: подумаешь – первый парень на деревне…

Спускается тихий вечер. Мы сидим молча и мечтаем. Мы летим над землей, мы самые счастливые, щедрые, добрые. Мы готовы подарить всей земле радость, чудеса. Мы – волшебники, чародеи.

Я думаю о том, что мало только мечтать. Мне самой хочется видеть далекие края, шумные города, пеструю толпу. И почему этот Коля Савчук решил остаться в деревне и работать трактористом? Он же поэт! Так хорошо о будущем думает. И тут же оборвала себя. Он, Коля Савчук, своими руками старается сделать это будущее. Потому и в деревне остался. А такие, как Васька-Тетеря, едва оперятся – сразу же портфель норовят ухватить, неважно какой – лишь бы портфель. А Коля…

И почему я должна о нем думать? И что хорошего находят в нем девчата? Вот хотя бы и Вера. Она неглупая девушка, а ломалась сегодня как последняя пустышка. Оригинальничала. Чтоб только Цыган хоть разок взглянул. А он и вправду смотрел на нее. Ну и пусть! Я ведь все равно скоро уеду в Москву. Окончу школу и уеду. А потом… Пройдет много лет. Я стану учительницей. И вот однажды иду я вдоль шоссе. Рядом со мной – мои ученики. Мы возвращаемся с экскурсии. Идем усталые, но довольные – столько интересного увидели. А навстречу нам… Ну, да – Колька-Цыган. И смотрит он не на Веру, которая в нарядном цветастом платье идет по другую сторону шоссе, а на меня. Вот!

А, впрочем, зачем я так думаю? Ведь все равно уеду, скоро уеду в Москву. И тогда прощай, Коля Савчук. Пусть у тебя самые красивые в мире глаза, пусть ты самый ловкий в работе и самый умный среди нас…

– Лиляна, что же ты? Пошли! – тормошит меня Петрусь.

Здорово же я задумалась. Все давно уже бросают льняные снопики в телеги, кипит работа, а я замечталась. Разве могли мы знать тогда, молодые и беззаботные, что уже растет хлопок на

Среднеазиатских полях, из которого сошьют нам не платья, как думает смуглая сборщица, а сошьют из того хлопка защитные гимнастерки. И наш белорусский ленок – тоже пойдет на войну.

И не знает пастух-скотовод, что из шерсти тех овец, которые сейчас мирно щиплют травку, сделают нам не модные яркие пальто, а сошьют серые шинели. И станут те шинели твердыми от крови и грязными от пыли и земли.

Мы читали газеты и с тревогой следили, как черные тучи войны заволакивают небо. Но мы тогда, по молодости и беспечности, не представляли себе той страшной опасности, которая угрожает нам.

История шла ко второй мировой войне. Вряд ли тогда мы задумывались и о том, какое страшное трагическое будущее ожидает и наших сверстников – молодых немцев, из сознания которых фашисты вытряхнули лучшие движения души – нежность, любовь, ласку, стремление учиться, делать открытия в науке, заниматься искусством, строить, создавать. Наших сверстников-немцев фашизм одел в грязно-зеленые шинели, сунул в руки автоматы и швырнул на фронт – завоевывать, убивать, разрушать, грабить, насиловать. Но все это было потом. Еще не было падения Парижа, еще не было даже финской войны.

Все наше горе, все наши беды были еще впереди.

Глава 4
Я открываю Москву

Поезд подходил к столице. Я прильнула к окну и глядела, как стремительно бегут нам навстречу домишки и деревья, проплывают на горизонте леса, в медленном танце плавно поворачивается широкое поле и пляшут-кружатся белоногие березки и темные мохнатые ели. Сердце мое прыгало от радости:

– В Москву! В Москву!

И ничего не существовало для меня, кроме этого вагонного окна в незнакомый мир. За моей спиной соседи по купе снимали с верхних полок чемоданы, тюки, сумки; укладывали-перекладывали вещички и снедь, а я смотрела, как встречает наш поезд летнее Подмосковье. Скоро Москва! Вот только проедем это широкое поле, потом – лес. А за ними и Москва… А пока расстилается перед глазами зеленое поле. Пасется стадо разноцветных коров, и пастух равнодушным взглядом провожает наш поезд.

Уже далеко остается стадо, и навстречу нам бежит мальчишка, который гонит молодого теленка. Телок, видно, решил проявить в первый раз в жизни самостоятельность и ушел один – туда, где растут яркие цветы и где трава мягкая и душистая. И очень уж не хочется тому телку быть послушным, он рад, что вырвался на волю и уже может показать характер. Теленок не хочет подчиняться ни грозному мальчишечьему окрику, ни длинному кнуту, что хлопает над самыми его телячьим ушами. Он подпрыгивает сразу на четырех ногах и дает стрекача вдоль полотна железной дороги – хочет, видно, догнать паровоз. А мальчишка с серьезным покрасневшим лицом бежит вслед и грозит ослушнику кулаком. Нет, не догнать ему резвого телка. Вон как выбрыкивает, где уж мальчонке справиться...

И стадо, и мальчишка, и теленок остаются за поворотом. Не детство ли это мое деревенское знакомой картиной простилось со мной?

Вот уже наплывают яркие домики в сосновом лесу. Потом снова – поле, перелесок и, наконец, надвигается громада большого города.

Наш вагон медленно пододвинулся к пестрой перронной толпе. Поезд замедлял ход, готовясь к остановке. Я оглянулась. Чьи-то услужливые добрые руки сняли с полки мою белую ивовую четырехугольную бельевую корзину. Она стояла рядом с какими-то чемоданами в темных и полосатых чехлах, аккуратно стянутыми ремнями. Моя провинциалка-корзина не смущалась от столь блестящего соседства – она с чувством собственного достоинства поглядывала на модных заносчивых горожан.

Гомон и крики, свистки паровозов, веселые и слезные восклицания – все это слилось в многоголосую музыку, и рефреном ее была в моем сознании звонкая песня: Я в Москве! Я в Москве!

Не успела я выйти из вагона, как очутилась в объятьях своих родственников. И вот мы уже пробираемся сквозь толпу к выходу. Впереди – брат мой – Яков Орлович. Высокий, внушительный, с комбриговскими ромбами в петлицах. Он широкоплеч и русоволос, точно Добрыня Никитич. Его единственное чадо, а мой племянник – Станислав, Стась, Стаська – старается идти в ногу с отцом. За Яшей и Стасиком протискиваемся мы с Валентиной. Она, наверное, никогда не постареет, моя невестка. Стройная, точно никакого отношения не имеет к своему рослому сыну, который уже по плечо отцу, идет эта женщина по перрону в красивом отутюженном светлом шерстяном костюме, в кремовых туфлях-лодочках, в шляпе с белой вуалеткой. Узкую Валентинину руку обтянула белая перчатка. (Ну, зачем, – спрашивается? И так тепло – лето, ведь…) Но, наверное, так надо. Вон и еще какая-то дама прошла – тоже в перчатках.

Я искоса поглядываю на Валентину. Она смуглая, черноволосая, похожа на… Я в одной книге по этнографии видела рисунок: под пальмой сидит индианка, обернутая в сари. Большеглазая, темные волосы на прямой пробор, тонкий нос с еле заметной горбинкой, губы чуть припухшие. А на лбу маленькая

темная точка – знак касты. Так вот и Валентина точно такая, как та индианка, только точки-звездочки не хватает между крутых бровей. А одевается она… Не очень-то нравится мне ее одежда – все белое да светлое. То ли дело – вон женщина пошла: платье красное в белый горошек и шарфик зеленый на шее, и тапочки на ногах, и белые носочки – легко и просто, и никаких тебе перчаток и шляп с вуалетками-сеточками.

Где-то за нами или обогнал уже – носильщик с моей поклажей – четырехугольной белой ивовой корзиной (не пропала бы…) Но то, что мои вещи несет настоящий носильщик, с номером и в белом фартуке, потрясает меня. А ведь я только вчера тащила на собственном горбу такую плотную вязанку травы, что любой бы здешний носильщик – я уверена в этом – крякнул бы, поднимая ее.

Я не привыкла к такому вниманию – видные родственники, носильщик, да еще… нет, я убита наповал – оказывается, на площади нас ждет легковая машина. Мы подходим, суетится Стасик, укладывая вместе с носильщиком мою белую четырехугольную приземистую корзину (цела!), а военный шофер в это время открывает сверкающую дверцу, и она стреляет в меня тысячами лучей. Я с каменным, строгим-престрогим лицом опускаюсь на мягкое сиденье – будто обязательно признаваться в том, что еду в легковой машине впервые в жизни.

Рядом с шофером – Яша, а мы – Валентина, Стасик и я – устроились вместе. Шофер оглянулся, поколдовал у своих рукояток, и, слегка оттолкнув меня к спинке сиденья, красавица-машина покатила по площади. Я прильнула к стеклу.

– Это улица Горького, – доносится до меня голос Валентины.

Я, кажется, не очень-то вежлива по отношению и к брату, и к племяннику, которые пытаются расспрашивать меня об окончании школы, о Борках. Валентина только поглядывает из-под темных ресниц, но не вступает в разговор. Умница! Я же ни о чем не могу сейчас толком рассказывать. Жадно впитываю все, что видят мои глаза – пеструю толпу, веселую, нарядную, льющуюся свободным потоком по улице, смотрю на большие каменные дома, на решетки

оград, на деревья.

– Лиляна, Лиляна, – тормошит меня Стасик.

– Оставь ее, – тихонько шепчет Валентина.

Я не смотрю в ее сторону, но чувствую, как тепло улыбаются ее темные большие глаза. До чего же чуткая она – как ей понятно все, что сейчас переполняет меня.

Спасибо тебе, Валя, – и я тихонько жму ее узкую руку в белой тонкой перчатке.

… До чего же счастливый народ – москвичи. Они всегда видят эти высокие гордые дома, эти блестящие витрины, эти зеркала – все это великолепие, что выставлено в окнах нарядных магазинов. Они каждый день могут выходить на бульвары, садиться на скамейки со спинками – удобные такие скамейки – и глядеть, пока не надоест, на газоны с пышными, яркими, неведомыми мне цветами…

– Ну как, Лиляна Ивановна, понравилась Москва? – спрашивает меня брат.

– Угу, – бормочу я.

– Лиляна, а правда, что ты моя тетя? – наконец удается овладеть моим вниманием Стасю.

– Самая настоящая.

– Скажешь тоже! Такие молодые тети не бывают.

– Бывают, бывают, – рассеянно отвечаю я, – и снова к стеклу. Мимо проносятся залитые ярким солнечным светом широкие московские улицы.

… Вот мы и дома. В центре, на улице Кирова.

Я иду по асфальтированной дорожке, проложенной во дворе, тороплюсь вслед за братом. Поглядываю на него, любуюсь. А все-таки хоть один из Орловичей стал генералом. Он еще совсем не старый, наш Яша, – всего сорок лет. Крепкий, плечистый. Только виски слегка посеребрили годы. Мне нравится все в нем – и уверенная походка, и звучный голос с четкой дикцией, и отрывочные точные фразы. От него веет такой силой, что рядом с ним ничего не страшно. Как хорошо бывает в жизни, когда

спрячешься вот за такую широкую спину. А Валентина – не спряталась. Она живет самостоятельно, я чувствую, какая у них дружная, слаженная семья – все на равных… И это особенно удивительно – Валентина не работает; казалось бы, самим положением ей уготовано в жизни второе место, но этого нет. Она такая же главная в этой семье, как и Яша.

А Стасик, Станислав Яковлевич, пожалуй, озорник. Уже в машине он пробовал мою косу на прочность – незаметно старался, но все же… Потянул разок-другой и вопросительно заглянул в глаза: не больно?

– Что ты там отстал, Стась? – через плечо спросил Яша. Мы уже поднялись на третий этаж.

– Да вот корзину тащу, – пыхтя ответил мой племянник.

– Трудись, трудись, – насмешливо бросил брат.

– Стасенька, да я помогу тебе! – метнулась я вниз по лестнице, – корзина-то тяжелая.

– Оставь его, Лиляна. Он – сильный, пусть, – удержала меня Валентина.

… Вот в каком раю живут мои родные… Целых три комнаты, и кухня еще, и ванная, и прихожая – хоть в лапту играй. А чистота… И все вещи – большие и маленькие – точно приросли к своему месту. И все здесь приучены к строгому порядку. Вон Стасик так старательно шаркал перед дверью подошвами о резиновый в дырочках коврик, что я испугалась, что от того коврика ничего не останется, да и на подметках сапожник заработает.

В квартире – главная Валентина. Она сняла свой светлый шерстяной костюм, быстро переоделась в легкое пестрое ситцевое платье, надела белый передник и стала такая домашняя, такая уютная – и нарядная, и праздничная, и свежая, и чистая-чистая. Все горит в руках у нее. Истопила ванну, вместе со Стасиком накрывают на стол – и все ловко, и слова негромкие, и лицо приветливое. А мне трудно прийти в себя. Сняла свои «семисезонные» брезентовые серые полуботинки в прихожей,

надела домашние шлепанцы. Подошла к большому трюмо, что стоит в прихожей в углу. И глянула на меня из зеркала худощавая, выше среднего роста девчонка со светлой косой, гладко причесанная. Робко глядит на мир эта девчонка, стоит как-то неуверенно, плечи опущены. И одежда на ней обыкновенная, деревенская. Чуть измялось темно-бордовое сатиновое платье, подхваченное простроченным белым широким пояском, взбунтовались складочки на подоле. А на груди – круглая массивная брошка – буква «Л» вписана в круг. Грубая брошка, чем-то напоминает номер вокзального носильщика. В Москве я что-то не видела ни у кого таких брошек.

Не успела я вымыться с дороги и перекусить, как затормошила Валентину и Стасика:

– Когда на Красную Площадь пойдем?

– В любое время.

– Сейчас!

Валентина ничего не ответила, только как-то быстро, мельком будто, скользнула по моему платью, тапочкам и носкам. А потом откровенно сказала:

– Тебе переодеться надо, Лиляна. Мы это мигом устроим.

И вот она перекраивает рукава, подгоняет по моей фигуре свое платье – новое, ни разу не надеванное. Решительно отбросила круглую гребенку из моей косы, чуть взбила волосы на висках, подала туфли на среднем каблуке.

– Ну вот, вроде – лучше, – сказала она. – Нравится?

– Очень! – ответила я, разглядывая себя в зеркале.

– И… учись держаться, ну-ка распрямляй плечи, не сутулься, – и Валентина легонько потрепала меня по спине. – Ровнее, ровнее. Вот так.

Если бы кто другой делал мне подобные замечания, обиделась бы и ответила дерзостью. Но это ведь – Валентина. Она, оказывается, всерьез берется за мое «омосквичение». Но разве в этом дело, разве это – главное?

… Вечером мы сидим в просторной комнате. Приоткрыта

балконная дверь. С улицы доносится шум большого города. В квартире тихо. Стасик куда-то убежал, Яша на службе. Мы разговариваем с Валентиной. Ее интересует все – и наша деревенская жизнь, которую она видела наездами, и моя мама, и мои друзья. Потом незаметно разговор переходит на книги. Я думала, что здесь дам сто очков вперед своей родственнице, но не тут-то было! Мои скромные знания в литературе оказались столь незначительными, что я просто упала духом. Ничего не знаю! Советскую поэзию особенно. А Валентина читает стихотворение за стихотворением, называет все новые и новые имена, которых я даже никогда и не слыхала. Значит, мне надо как можно больше читать. Потом я осторожно спрашиваю, может быть, она, Валентина, и иностранные языки знает?

Она улыбнулась:

– Тут удивляться нечему, девочка. Меня с детства учили двум языкам.

Как же это я забыла? Ведь Яша часто говорил, что Валентина наша – дворянка. Мама спрашивала: – Барыня? Нет, не барыня, не изнеженная бездельница. Валентина всю жизнь трудится. Изучила педагогику и психологию лучше любого учителя, читает, переводит, ведет хозяйство. Все она умеет, несмотря на то, что выросла в семье полковника царской армии. Но полковник, отец Валентины, был умным и передовым человеком. С ним наш Яша познакомился, когда тот был военным консультантом в их дивизии. Это его стараниями, стараниями военспеца, брат получил достаточную подготовку, чтобы затем поступить в военную академию. И без участия Валентины не обошлось – она готовила Яшу по всем предметам средней школы. Так они подружились в ту пору и потом стали мужем и женой. Были у него и разные неприятности из-за Валентининого происхождения. Но брат умел всегда становиться выше разных колючек сверхбдительных кадровиков.

Я сижу рядом с Валентиной, слушаю ее спокойный голос. Если уж говорить о влюбленности, то я просто боготворила в ту

пору свою невестку. Все в ней мне нравилось – и походка, и манера держаться, и умение сделать квартиру красивой, и самой красиво одеться. В ситцевом простом платьице выглядела она наряднее некоторых, что в крепдешины рядились. (Правда умение Валентины хорошо и со вкусом одеваться оценила я несколько позднее…) Как мне хотелось быть похожей на Валю.

К вечеру следующего дня мы вместе с Валентиной и Стасем пошли на Красную Площадь. Было торжественно и величественно кругом. Солнце ласково золотило купола древних церквей, его лучи скользили по шпилям старинных кремлевских башен, по узорчатым зубцам кремлевских стен. Свет и тени. Древняя старина и мавзолей Ленина. Прошлое и вчерашнее, настоящее и будущее. Строгий темный мрамор мавзолея и старинные камни седых кремлевских стен. Огромные венки у мавзолея и серебряные елочки, будто только что из леса.

Я стараюсь разглядеть все – и круглые часы с золотыми стрелками на темном циферблате – те, что увековечили Спасскую башню, и елочки у мавзолея, и темную брусчатку камней, что устилают площадь. Мне хочется тихо подойти к каменному парапету, который выводит из мавзолея, и прикоснуться к нему ладонью, хочется потрогать каждую хвоинку серебристых елочек, что как часовые застыли у строгой кремлевской стены. Я не могу сдвинуться с места и все смотрю, смотрю… До моего слуха доносится мелодичный звон – это бьют Кремлевские куранты. Они отсчитывают время новой эпохи.

Так вот ты какая, Красная площадь!

Много есть больших и красивых городов на свете, но Москва – лучше всех. Она – самая главная. К ней тянутся мозолистые руки, к ней летят светлые мысли каждого мыслящего человека на Земле. Все дороги ведут в Москву.

Много есть на свете больших и красивых площадей, но Красная площадь – самая замечательная, она – святыня для тех, кто трудится: здесь – мавзолей Ленина.

Пройдут годы. Люди построят новые города по последнему слову архитектуры – из бетона и стекла – светлые, праздничные. Люди посадят много цветов и разведут сады, люди вспашут землю там, где редко ступала нога человеческая, и посеют на той земле пшеницу. Люди соорудят новые заводы, обуздают непокорные реки, найдут новые богатства в земных недрах, люди полетят к звездам. Изменится мир, изменится лик Земли, пройдет много лет, но и тогда человек будущего придет сюда и с благоговением посмотрит на величественные стены древнего кремля, на строгие башни, и тому человеку, как и мне сейчас, захочется осторожно коснуться ладонью гладкого мрамора ленинского мавзолея.

… Валентина и Стасик шли следом за мной и о чем-то вполголоса разговаривали. Они не спрашивали меня ни о чем…

Я вместе с племянником хожу по Москве. Времени у обоих достаточно. В Московский университет меня приняли. На исторический. И без экзаменов – отличница как-никак. Я самый счастливый человек на земле и (пока!) самый незанятый. Я освобождена от всякой работы по дому, могу сколько хочу ходить по Москве. У Стасика тоже каникулы, и в пионерский лагерь он уезжает только в третью смену. Поэтому мы с ним и рано по утрам, и вечерами ходим по улицам.

Утром московские дома и площади кажутся написанными акварелью – прозрачные, окутанные дымкой, умытые, молодые, а вечером эти же улицы, освещенные уходящим солнцем, смотрятся как картины, написанные маслом.

Я бреду по истертым плитам и стараюсь представить себе, какие люди ходили здесь пятьдесят, сто, двести лет назад. Мне кажется, что я тоже жила тогда – в прошлые века – и любила ходить по улицам Москвы. Только дома тогда были совсем другие – сначала почти все деревянные, а потом уже и каменные. (А какие после нас будут строить дома в Москве?) Я всегда была, как сейчас, молодая, и у меня всегда была вся жизнь впереди. Только кем я тогда была, в далеком прошлом? Нет, не боярышней и не барышней-дворянкой. Я была или дворовой, или стрелецкой

девчонкой, или мещанкой из Замоскворечья.

– Лиляна, Лиляна, – тормошит меня Стасик. – Хочешь, пойдем в Александровский парк?

И мы идем к высоким чугунным ажурным воротам. Старинный парк у кремлевской стены, сколько же видел ты… Мягко шелестят столетние липы.

– Это что?

– Памятник. Не видишь, что ли? Пошли.

– Обожди, Стася.

Я стою у обелиска. Читаю выбитые на мраморе имена. Маркс, Энгельс, Либкнехт, Лассаль, Кампанелла, Фурье, Чернышевский, Бакунин, Плеханов.

Кампанелла... О нем я ничего не читала.

– Стасик, кто такой Кампанелла?

– Не знаю, мы этого еще не проходили. И вы – тоже?

Я молчу, мне стыдно – ведь поступила уже на исторический. Как объяснить этому мальчишке, что не из-за лени я не могла знать многое?

И теперь, когда вспоминаю прошлое, мне становится горько за то, что многого в деревне мы не могли знать. Откуда же я могла знать что-либо о мыслителе, написавшем «Город Солнца», если наша школьная библиотека насчитывала всего томов пятьсот, не больше. А других библиотек в округе не было.

– Ничего, не унывай, Лиляна, у нас дома, кажется, есть книга об этом Кампанелле. В крайнем случае – посмотрим в энциклопедии, – успокаивает меня племянник.

И я делаю себе в памяти зарубку: прочитать о Кампанелле. Стыдно ничего не знать о человеке, имя которого пишут на памятниках.

Мы идем по аллее Александровского парка.

– Стасик, а что там, в Кремле?

– Не знаешь, что ли?

– Догадываюсь... А ты хотел бы сам посмотреть, как там – в Кремле?

– Конечно. Пойдем отсюда, Лилянка.

– Почему?

Стасик сделал таинственное лицо и тихонько сказал:

– Пойдем! А то подумают, что мы какие-нибудь шпионы.

– Чепуха! Начитался ты разных детективов, Станислав.

– И ничего подобного, – и Стасик упрямо потащил меня к выходу.

Мы стоим у чугунной ограды и рассматриваем манеж.

– А что там, в манеже, Стасик?

– Гараж. Правительственный, – таинственно добавляет мальчишка.

– Почему гараж?

– А я знаю?

– Такое красивое здание, – огорчаюсь я. – А раньше что было?

– Папа рассказывал, что тоже манеж был, при царе. Смотры военные устраивались. Знаешь, здорово как – офицеры на лошадях! Я в кино видел, как они гарцевали. Держит...

– Погоди, Стасик. Потом расскажешь.

Мальчик мрачнеет.

– Не обижайся, – дотрагиваюсь я до его плеча.

– И не думаю, – увертывается он, а у самого нахмуренные белобрысые брови.

– А раньше, еще раньше что было? Смотры, парады и все?

– Нет, иногда, говорил папа, устраивались выставки, проводились гулянья.

Ну, это куда ни шло! А то манеж, лошади, в таком красивом помещении...

… Каждая улица, каждый переулок, почти каждый дом – целая история. Мне досадно, что ни я, ни мой племянник не знаем ничего об этих домах и площадях.

– Вон Московский университет, – показывает мальчик.

– Это я, положим, уже знаю…

– Идем дальше. Это – Моховая.

– Тоже усвоила. А вот там – что?

– Где?

– Дворец на горе.

– И дворец, и вот это большое здание с колоннами – смотри, какие они черные, мраморные – все это библиотека Ленина, – важно объясняет мне племянник. Он уже потихоньку входит в роль гида и с чувством превосходства дает пояснения.

– Сама вижу, – обрываю я мальчишку.

– А отчего сердишься?

– Потому что ничего не знаю.

– А стоит ли сердиться? Узнаешь потом.

– Хорошо тебе говорить, когда ты все это с пеленок видел. А я...

– И ты тоже видишь, – пожимает плечами Стасик.

– Ничего ты, племянник, не понимаешь, – тихо говорю я. – Там столько книг. И не хватит человеческой жизни, чтобы все их прочитать. Такая она короткая – жизнь.

– А зачем все читать? Надо только интересное.

– Так оно и получается. Схватится человек за что-то и думает: это самое интересное. И невдомек ему, что и кроме того есть такое, что жизни человеческой мало...

– Ну, это ты что-то о непонятном загнула, – решительно заявил Стасик. – Пошли, что ли, домой?

– Ой, Стасик, больно же... Что ты как медведь за руку хватаешь?

Стасик не отвечает, он стоит передо мной бледный, и на висках у него капельки пота.

– Стася, что с тобой?

– Это не со мной, а с тобой. Чуть под машину не угодила. Ходишь – рассматриваешь все.

– Это под ту, черную? Ну как же угодить под нее, когда она не одна, а целая дюжина промчалась... Что это они цугом разъезжают? И как попасть под ту машину, если шофер видит, что человек идет?

– Ох и наивная ты, тетя моя. Это – правительственные

машины.

– Ну и что же?

– А то, что шофер не остановится – а вдруг ты шпионка какая или диверсантка.

– Я?

– Ну не ты, а кто – другой.

– Нет, племянник, ты просто болен. У тебя – шпиономания.

– Что? Что?

– Шпиономания...

Домой идти не хотелось. Стасик обрел свой прежний независимый вид, и снова добродушно глядели его лукавые глаза на мир. Он готов был и дальше сопровождать меня. На улицу Горького? Что ж, – можно. Я задирала голову и подолгу разглядывала новые дома на центральной улице, любовалась бывшими старинными особняками. Где ты, тот дом, в котором жила Наташа Ростова? Там, где теперь музей революции?

На метро мы проехали до Сокольников. Стасик хотел показать мне интересный дом. Да, было на что посмотреть. И кто выдумал такое? Это не дом, а какое-то подобие самолета с обрубленными крыльями.

– Там клуб, видишь, написано – клуб имени Русакова.

– И зачем такое строили?

– Мода… – глубокомысленно изрек мальчик.

Дома Стасик, добродушно посмеиваясь, рассказывал о моем знакомстве с Москвой.

– Мам, а Лиляна остановилась на Тверском и смотрит на дом Герцена. Ну, на тот, где писатели учатся. И лицо у моей тети стало как у лунатика.

Я не слышу, о чем вполголоса говорит Валентина. И снова громко, на всю квартиру разглагольствует Стаська:

– Мам, а Лиляна уставилась на витрину, где художники картины выставляют. На Кузнецком. Стоит и смотрит, еле оттащил я свою тетю.

– А у витрины, где моды показывают, стояла? – с хитринкой

спрашивает Яша.

– Стояла! – кричу я из другой комнаты.

– И неправда! Только взглянула разок, – спорит Стасик. – Она у нас и без модных платьев красивая. Правда, мам? Вон какая коса у нее. Ни у кого из девчонок нашей школы нет такой косы, – горячо выпаливает мой племянник.

– Красивая, говоришь? – смеется брат. – А мы и не знали. На том и решим: если уж Станислав Яковлевич утверждает, то…

– Быть по сему, – заканчивает Валентина.

– Будет вам смеяться, – смущенно бормочу я, а сама придирчиво разглядываю себя в зеркале.

Валентина научила меня заплетать косу по-новому, не сдавливать волосы, а «чтоб дышали», и потому моя коса кажется особенно заметной. Волосы у висков чуть вьются, и Валентина ни в коем случае не советует их стягивать в прическу. И в самом деле, – так лучше.

Вот еще белых кофточек накупила мне Валя. Строгий – английский – фасон. Говорит: типичные, студенческие. И в тапках на улицу не пускает меня родственница. Говорит: не принято. Купила мне сандалеты на каждый день и туфли. Выходные! Светлые лодочки!

Да, – «омосквичивает» меня родственница. Неплохо!

* * *

… В мавзолей Ленина пошла я одна. Никому не сказала и никого не позвала. Это особенно личное у каждого: Ленин. Все люди приходят сюда, и в их сознании, думается, единственный мавзолей на свете не со смертью связывается.

Ленин – это бессмертие. Это вечная жизнь – Ленин, и это самое святое, что есть у честного человека.

Здесь, на просторной площади, даже машины едут как-то по-особенному, а люди ступают осторожными шагами по истершимся каменным плитам – брусчатке.

И в тот день, как всегда, многоводной рекой стремились к Ленину люди. Я – маленькая песчинка в этом потоке. Вместе с другими, затаив дыхание, спускаюсь по серым ступеням в мавзолей. И мнится мне, что слышу, как звучит торжественно-траурный марш, и вижу, как склоняются опаленные свинцовым огнем боевые знамена.

Ступени, ступени, истертые миллионами ног. И темный мрамор с силуэтами бордовых знамен.

Ступени, ступени… Я уже поднимаюсь вверх и несмело, но упрямо протягиваю руку к венку, что стоит у стены ленинского мавзолея. Вижу, как строго глядит на меня часовой. Я дотрагиваюсь до цветов и листьев. Нет, не от легкого прикосновения моих пальцев упали на землю яркие и темно-бордовые лепестки роз – они упали утром или в полдень, они алеют у стены яркими пятнышками.

Я нагнулась и осторожно подняла эти несколько лепестков. Лицо часового оставалось строгим, а глаза потеплели.

Красная Пресня показалась мне ничем не примечательной. Теперь здесь все вроде и не такое, каким я привыкла видеть на картинках в учебнике. Потом словно ударило: как же не сообразила я, что вон в том узком переулке рабочие строили баррикады. А в подъезд, может быть, вот этого дома вносили раненых. Может быть, именно эти серые стены, этот уголок улицы видели мутнеющие глаза студента, который бился вместе с пресненскими рабочими против царя и умирал тогда – в 1905 году – за настоящее? И он очень хотел увидеть это настоящее и жить в нем…

И просто ты врешь, Васька Тетерин, когда болтаешь, что на костях пусть растет будущее. Нет, безымянный студент очень хотел жить, но и умер он во имя жизни, чтобы мы не удобряли почву для будущих садов, а уже сейчас растили эти сады…

* * *

Сейчас мне даже трудно представить себя ту, прежнюю девчонку с маленькими знаниями, но с большим желанием знать многое, которая приехала в Москву из глухой деревушки. Главное, – хотелось знать и не постепенно узнавать новое, а – сразу, залпом. Но так не бывает…

Об искусстве, пожалуй, я имела самое смутное представление. Кроме кино ничего не видела и не знала. Живопись существовала для меня только в репродукциях. Откуда же еще? Но мне хотелось видеть и знать. Это желание знать и видеть разбудила во мне Валентина еще в далеком детстве.

Когда я была классе в четвертом или пятом, привезла мне Валентина большой альбом с открытками.

– Смотри, Лилянка, – такие картины висят в Третьяковской галерее.

– Такие маленькие?

– Нет, – большие и поменьше. Есть даже величиной в целую стену.

Я не удивилась. У нас в клубе тоже есть картины в целую стену. Я даже видела, как их рисовали – ползает босой парень по холсту, что натянут на большую раму и лежит на полу, и мажет парень кистью, широко размахивает рукой, так что краска брызжет во все стороны.

Но я не хотела быть невежливой по отношению к Валентине – она ведь мне новую вязаную кофточку привезла и фетровый жесткий берет. Очень красивый берет – синий-синий, даже у учительниц наших нет такого берета. А картинки, должно быть, в городской лавке Валентине дали как «нагрузку» (у нас в сельпо всегда делают так – берешь что-нибудь дельное – платок там или мыло, ну и дают тебе в «нагрузку» какие-нибудь чудно вырезанные фанерки, что лекалами называются, или пудреницу какую или… Ну, что тебе совсем не надо. Но и оставлять в лавке эти «нагрузки» не хочется – берешь их – пусть дома валяются).

Поэтому, чтобы не обидеть Валентину, я взяла ту «нагрузку» в руки, быстренько перелистала толстенный альбом с картинками.

Картинки как картинки. Хоть бы цветочки нарисовали какие, а то невесть что. Вон у Верки альбом – весь в цветочках да букетах. Даже крашеные пасхальные яички на блестящих открытках. Старинные. Верка бережет их – теперь таких не выпускают.

А это… Ну, что ж. Пусть хоть такие, если не досталось Валентине открыток с цветочками, а разные крашеные писанки мне и не надо. Они – религиозный дурман, это я понимаю.

– Иди-ка сюда, Лилянка. Что насупилась? – зовет меня Валентина.

Я подошла. Валентина, улыбаясь, положила передо мной альбом и значительно сказала:

– Смотри.

Она вынула только одну открытку, захлопнула альбом, и положила передо мной на стол картинку.

– Что здесь нарисовано?

– Дети. Девочка несет ребенка, братишку, верно. А в фартуке у нее грибы.

– А что ты еще здесь видишь?

– Кладку. Копань и жито.

– Ах ты моя белорусочка! Правильно – бежит девочка по деревянному мостику, босые ноги – шлеп-шлеп-шлеп. Слышишь?

– Не слышу.

– Услышишь после. А почему девочка так спешит? Не знаешь? Я замотала головой.

– Видишь, какое темное небо. Будет гроза. Уже загулял по полю ветер – вон как травы согнул, как волнуется рожь. Уже упали на землю крупные капли дождя. Гремит гром, и блеснула молния.

Я внимательно разглядывала картинку. И как это Валентина услыхала гром? И молния там не нарисована. Только согнутые травы да черная туча, и дети по дощечкам бегут. Платок с головы у девочки сбился. А гром и молния… Нет такого. И выдумает же эта Валентина, насочиняет... Будто я маленькая. А все же картинка интересная. Не хуже Веркиных цветков, пожалуй.

Потом я замучила Валентину – расскажи ту картинку, да

расскажи эту. А здесь что нарисовано? – и подсовывала одну открытку за другой.

Яша непонятно шутил:

– Вызвала подземные силы, волшебница, теперь сама не можешь с ними справиться.

– Ничего. Лилянка поможет мне, – отвечала Валентина.

А теперь я увижу настоящие картины, подлинные полотна – иду в Третьяковскую галерею.

На цыпочках подходила я к знаменитому терему в Лаврушинском переулке. Терем-теремок, откройся, не таи свои богатства!

Едва переступила я порог этого волшебного дома, так и обомлела: какие богатства! И сколько! Это – драгоценный расписной ларец, и в нем несметные самоцветы – один другого лучше.

Древнерусская живопись. Строгие лики. Укоризненно глядят они на меня немного грустными большими глубокими очами – почему я не останавливаюсь, а пробегаю мимо?

Надменные томные красавицы в белых высоких париках иронически улыбаются чуть подкрашенными розовыми губами. Розы, бантики, парики, мушки. Яркие декольтированные дамы, чопорные старики и старухи, женоподобные мужчины в расшитых камзолах. Далекая старина и торжество таланта крепостного живописца. Как старательно выписывал он каждый бантик, каждую оборочку, каждую складочку, каждый узор тонкого белоснежного кружева.

Мимо некоторых картин проходила я не останавливаясь. И что там изображено на картине Лосенко «Прощание Гектора с Андромахой»? Гомеровскую «Илиаду» я тогда не читала, и откуда мне было знать, зачем это мужчина в красном плаще картинно поднял руку вверх, и почему горько плачет женщина с ребенком на руках. На войну идет человек? На какую? С кем будет драться?

А это… Это очень знакомое. Ноги приросли к полу, нагнулась и читаю: «Иван Грозный и его сын Иван (16 ноября 1581 года)».

Только что совершилось непоправимое – отец в припадке ярости убил родного сына. Темная кровь запеклась на красном ковре. Тяжелый дубовый стульчик опрокинул царь, когда бросился к сыну. И совсем здесь не Грозный Иван Васильевич, а растерянный, обезумевший от горя, с пятнами сыновней крови на лице, отец. Меркнет всепрощающий взор умирающего царевича.

Кто-то за моей спиной шепотом рассказывает, как неизвестный офицер долго-долго смотрел на эту картину, а потом полоснул по ней шашкой.

Мне трудно переключить свое внимание на другие полотна. Какие-то картины я прохожу, не видя их, не вдумываясь в их содержание. И спокойные полотна о русской природе, о русском раздолье несколько успокаивают меня.

Левитан, Шишкин… Каким же талантом надо обладать, чтобы вот так взять за душу и навсегда полонить. Сделать так, чтобы без слов восторга человек не смог уйти от этих окошек в мир могучей русской природы.

От саврасовских «Грачей» пахнуло талым снегом. Я даже ощутила легкий ветерок на щеке, услышала крик темных хлопотливых птиц, мне даже показалось, что я вижу, как машут крыльями новоселы-грачи, что прилетели к нам с далекого юга.

Впечатления давили меня. Мои глаза болели от нестерпимо живых красок. Но я все жадничала – меня тянуло и к знаменитой картине Иванова, и к полотнам Сурикова и Федотова, Васнецова и Нестерова, Айвазовского, Куинджи, Серова, Врубеля. Я до слез была огорчена, что не удалось мне на этот раз посмотреть как следует зал современной живописи – галерея уже закрывалась.

Когда я вернулась домой, Валентина спросила:

– Что же тебе больше всего понравилось?

– Все! – горячо заявила я.

– Так не бывает, милая, – возразила Валентина. И в голосе ее я уловила обидную снисходительность и сожаление.

Я горячо стала распространяться о подслушанном разговоре

возле репинской картины, рассказывала об офицере, искромсавшем шашкой репинский холст.

Валентина огорчила меня:

– Много разных легенд возникло вокруг имен живописцев и их произведений. А по репинскому полотну ударил не безымянный офицер, а больной художник Балашов.

Мне было обидно. Пусть бы уж царский офицер с шашкой против деспотичного царя. А то какой-то полубезумный художник. И как он посмел? На картину самого Репина?

Валентина говорила что-то много и не очень понятное. Запомнилось только:

– Не могут человеку нравиться все картины. Что-то одно особенно должно запасть в сердце. Это – как любовь. Нельзя любить сразу нескольких.

Эту Валентинину мысль я постигла несколько лет спустя, когда по дороге на фронт вспомнились мне вдруг левитановские картины.

Москва каждый день открывала передо мной все новые и новые чудеса, о существовании которых я и не подозревала.

В Подмосковном Кускове жила в восемнадцатом веке крепостная актриса Параша Жемчугова. Женщина с грустными глазами, необыкновенно нежная и артистичная. Через столетия доходит до нас ее обреченно-грустный взгляд. Почему она так тоскует? Что свело ее так рано в могилу? Золотая клетка. Как особенно нежный и хрупкий цветок, она не прижилась на жесткой почве – среди мрамора и позолоты. А, может быть, она умерла так рано совсем не от чахотки, а потому что именитые родственники попрекали ее низким происхождением? Она смирилась и молчала – только ныло сердце. И вся радость для нее была в искусстве, в театре, в музыке. Как должно быть тонко понимала она музыку! Как глубоко знала ее эта бывшая крепостная. И я позавидовала этой далекой красивой женщине, что было дано ей такое, чего лишена я – умение тонко понимать музыку, жить ею, дышать. А Парашу лишили всего этого. Жена видного сановника должна была забыть

о сцене. Вот и заболела она потому, что отняли у нее самое главное – чем жила, чем дышала…

Оказывается, восемнадцатый век – это не только томные манерные барыни с мушками, в бантиках и кружевах. Это не только белые пудреные парики.

Ох, как много надо читать тебе, Лиляна Орлович! И я набрасывалась на книги, перелистывала справочники, рылась в энциклопедиях.

Валентина радовалась. Шаг за шагом показывала она, как много мне надо читать. А я и сама чувствовала, как не хватает мне знаний, как низка культура моего восприятия того чудесного мира, который называется искусством. Мне было до боли обидно, но я не сдавалась.

… Я первый раз в жизни иду в консерваторию. С Валентиной и Яшей. Мы вышли заранее, чтобы немного погулять. Валентина считает, что Яша редко выключается из своих дел и ему следует отдохнуть. Брат мой, по-видимому, не испытывает особого восторга от такого отдыха – я подозреваю, что музыку он не особенно любит, но… Но Валентина считает, что такие вещи, как симфоническая музыка, должны постигаться со временем. Правда у моего братца этот процесс «постигания» что-то затянулся, но… Но его жена, по-видимому, на этот счет оптимистичнее меня.

А я иду просто из любопытства: что там такое, в консерватории? И что это за зверь – симфоническая музыка? Иду и глазею по сторонам. Вечереет. На московских улицах оживленнее, чем обычно, много принарядившихся женщин. Плывут по улице яркие шелковые и маркизетовые платья, соперничают прически. Оценивающе глядят друг на друга женщины.

– Какие нарядные, – шепчу я Валентине.

– Покажи, кто тебе нравится.

Я указываю глазами на женщину в голубом платье с оранжевой косынкой на плечах.

– Вон та, в голубом, с сумочкой розовой…

– Ты серьезно? – удивляется Валентина.

Брат не скрывает улыбки: его жена неисправима – никогда и ни при каких обстоятельствах не прекращает воспитательной работы.

– Шлифуешь родственницу? – вполголоса спрашивает он. Валентина не отвечает, только искоса взглянула на мужа.

– Да, мне нравится, как одета та женщина, – говорю я. Валентина грустно улыбается. И я понимаю, что у меня, по ее мнению, совершенно дурной вкус.

В Большом зале консерватории я долго верчу головой по сторонам, стараясь рассмотреть портреты композиторов, люстры, бра. Тихонько спрашиваю у Валентины, что это за большущие «карандаши» там, на сцене (это был орган), откровенно разглядываю публику. Интересно, что женщины, которые пришли в этот зал, были, как правило, одеты строго и красиво причесаны. Гладкие однотонные платья, больше темные, ослепительно белые воротнички или чуть подкрахмаленные жабо, выглядывающие из глубоких вырезов костюмов, некоторые – в длинных вечерних платьях.

…Дирижер взмахнул палочкой и зал наполнился нежными звуками. Они свободно лились, переплетались, о чем-то рассказывали этим людям с застывшими лицами, полностью поглощёнными музыкой. А мне, признаюсь, было все это непонятно. Эти красивые голоса скрипок ничего не рассказывали мне – я была здесь как слепой у клумбы с цветами: чувствует, что нечто прекрасное перед ним, а не видит…

Зато Валентина… Думается, что тони в глубокой реке ее единственный обожаемый сын Стасенька, и то не услыхала бы она в эту минуту его крика. Лицо ее стало похоже на лицо той женщины, с картинки в книге по этнографии. Нет, пожалуй, не так: стала наша Валентина похожа на неведомую женщину из загадочной древней страны или на героиню какой-то полузабытой детской волшебной сказки. Вот сидит она рядом со мной – темноволосая, в строгом темном костюме, немножко чужая – будто

этот зал, эта музыка увели ее в неведомые края, в неведомую страну, к диким живописным скалам, в дремучие джунгли, к таинственным глубоким бурливым рекам.

А меня музыка никуда не уводила, я потихоньку разглядывала Валентину, косила глаза на ее брошку и снова находила, что Валентина похожа чем-то на свою брошку – хитрая какая: носит свой собственный портрет…

А музыка… Нет, не одна я такая непонимака в этом зале. Чувствую, что и братец мой не очень большой знаток и ценитель сложной симфонии, и ему особенного наслаждения этот концерт симфонической музыки не доставил.

Но ему, если он сам и не хотел бы идти сюда, то надо было из вежливости сопровождать жену – любительницу музыки, а я… Так мне и надо! Звал же меня Стасик в кино, так нет же – просвещаться захотелось Лилянке Орлович. Так и не хнычь…

Когда мы возвращались домой, я спросила Валентину, что это за брошка у нее.

– Фамильная драгоценность, – фыркнул Яша. – Барские штучки. И что в ней красивого?

– А почему? – возразила я. – Валентина в профиль похожа на ту даму, что на брошке нарисована.

– Не нарисована… Это камея, – пояснила Валентина, а потом внимательно поглядела на меня.

– Что ты, Валя?

– Ты, оказывается, комплименты уже научилась говорить, – заметила она. – На первый раз недурно, но несколько преувеличенно.

А потом насмешливо добавила:

– Не следует перебарщивать…

Я окончательно смутилась, но меня выручил брат:

– Не огорчайся, Лилянка, не сразу постигнешь эти разные тонкости. Скажи лучше, понравилось тебе в консерватории. Как тебе концерт, ничего?

Я нагнула голову и молчала. Врать брату не могла, и Валентину обидеть не хотелось.

– Так ты говоришь, Иванов перестал с тобой здороваться? – перебила нас Валентина. – С чего бы это?

Не в ее характере быть такой невежливой – перебивать разговор, но я понимаю, почему она так сделала. Спасибо тебе, чуткая женщина…

* * *

Лиляна Орлович! И за что тебе выпало такое счастье? Сидишь ты в необыкновенном зале, и название его звучит весомо и торжественно: Ленинская аудитория. Скамьи поднимаются одна выше другой. А на кафедре ученый с мировым именем. Он читает курс о Древней Руси. И сидишь ты здесь, на университетской скамье, деревенская белорусская девчонка, дочь мужика-лапотника. Жив был бы твой отец, порадовался. А так радуется за тебя только мать твоя, колхозница, да московские родичи. И сидишь ты здесь, Лиляна Орлович, как самая что ни на есть равноправная студентка. Не ленись только – слушай, запоминай, читай, анализируй… Но все это не так просто. И как мне во всем разобраться?

Каждый ученый-историк, как только ступит на высокую университетскую кафедру, начинает свою лекцию с критики школы Покровского. Но почему это так сурово осуждается то, что утверждал знаменитый ученый? В чем он был вульгаризатором?

Ведь даже мне, бывшей деревенской школьнице, известно, что Владимир Ильич высоко ценил Покровского как историка. Много непонятного. А, может быть, это неправильно, что я так придираюсь ко всему? Но почему неправильно? Сам Маркс учил подвергать все сомнению… Подвергать все сомнению, но не сомневаться во всем… Да, сложно все… Что ж, надо тебе больше читать, Лиляна Орлович, больше размышлять… Так-то. А то тряпочками иногда головка забита бывает. Но…

Не отвлекаться, не отвлекаться... О чем это профессор? Да, это мне понятно. Много жестокого было в истории Древней Руси. А

какие обычаи! Ни один, даже самый захудалый, князек не терпел возражений от тех, кто от него зависел. Просто уничтожал своих инакомыслящих противников. Громко звенели бубны и цимбалы, заглушая предсмертные хрипы казнимых. Колокольный звон глушил потом стоны поднимаемых на дыбу в глубоких каменных мешках-подземельях. А теперь… Громкие песни и залихватские частушки в честь… Опять ты отвлекаешься, Лиляна Орлович, об этом даже думать не положено…

Да, о чем я? О жестоких обычаях. Это – верно: страшные были обычаи. Например, умирал муж, и жену заживо бросали в могилу. Точно так, как на картине Семирадского «Похороны знатного руса». Сидит в своем кресле мертвый человек, а у ног его три распростертые ниц женщины плачут навзрыд. Спутанные волосы несчастных волочатся по земле. Кто они – те женщины? Плакальщицы? Или одна из них – жена мертвого, а другие ее сестры? Кого из них зароют в могиле вместе с надменным застывшим мертвецом? Или всех трех?

… Профессор археологии скучнейшие вещи умеет рассказывать так, что после двух-трех его лекций всерьез начинаешь спрашивать себя: а не стать ли археологом?

Казалось бы, что поэтичного в том, что люди разрывают древние курганы, как величайшую драгоценность извлекают из земли невзрачные какие-то черепки с вытесненными на них гребенчатыми узорами? Что эстетичного в мечах, источенных ржавчиной? А нет же… Это и поэтично, и заманчиво, а главное – нужно для истории.

Как сейчас слышу голос нашего *архо*:

– Клады – это несбывшиеся надежды людей. Зарывали их в землю, чуя опасность, беду…

А я увидела, как скачут по степи враги-кочевники, как торопятся мои русские предки схоронить от них свое добро и как готовятся широкоплечие высокорослые храбрецы к смертному бою. Слышится топот полудиких коней. Пылит степь. Ветер гнет долу сизый ковыль…

* * *

Я была уже на втором курсе, когда началась война с Финляндией.

Тускло светит в нашем подъезде синяя маскировочная лампочка, жутковато и мрачно в пустой полутемной каменной коробке. Только шаги мои гулко раздаются на лестнице. Я поздно засиделась в читальном зале библиотеки Ленина. Скорее бы домой!

Наверху хлопает дверь. Я слышу голоса. Наши! Валентина и Стасик. Но почему так поздно? Скрипят сапоги – значит, с ними брат. И куда это они направились в такую пору?

Мы встречаемся на чужой площадке, на втором этаже. Сердце чует недоброе. Я ни о чем не спрашиваю, только прислонилась к перилам лестницы.

– Лилянка! Хорошо, что застала нас, – слышу я взволнованный голос брата.

– Что случилось?

– Папа едет на фронт! – громким шепотом говорит Стасик, и я чувствую, что гордится он отцом-фронтовиком. Валентина грустно улыбается.

Потом мы провожаем Яшу во двор. Там уже стоит перекрашенная в защитный цвет машина. Шофер и Стасик укладывают чемодан.

Хлопнула дверца, загудел мотор. Вот и все…

А накануне дня Красной Армии, двадцать второго февраля…

Утром, помнится, был какой-то звонок. Валентина строго и официально разговаривала с кем-то по телефону. За ней обещали прислать машину, но я торопилась в университет и не полюбопытствовала, куда это она собирается ехать. Я не подозревала еще, какая страшная беда обрушилась на нас.

Когда я вернулась с лекций, начинало смеркаться. Я открыла своим ключом дверь – думала – нет никого дома – и очень удивилась, почему это Валентина сидит за столом в парадной

нашей комнате в пальто и шляпе. Я зажгла свет. С ботиков Валентины на ковер натекла лужа, но она не заметила этого. В узкой руке ее дрожит какая-то бумажка. Я подлетела к Вале, тряхнула ее за плечи, но она, как неживая, невидящими глазами посмотрела на меня. Потом она опустила голову на стол, обняла ее руками и прижалась лицом к скатерти. Шляпка ее сдвинулась, вуаль зацепилась и повисла на шпильке.

Я схватила бумажку, которую отбросила Валя, и буквы, напечатанные на машинке, заплясали у меня перед глазами.

Комбриг… Яков Иванович Орлович… смертью храбрых…

Потом мы лежим с Валей в их спальне, и она мне на ухо рассказывает, что у Яши были какие-то служебные неприятности. Кто-то написал на него какую-то гнусную муть. Доносу и поверили, и нет. Но друзья сделали, чтобы Якова не было пока в Москве. Они надеялись – к лучшему. Кое-кто считал: наказание. Брат как доверие счел это назначение, как почет. Послали воевать, доверили командование дивизией. Разве может быть иная судьба у кадрового военного?

… А теперь нет больше командира дивизии комбрига Якова Орловича. Так-то…

Глава 5
Не всегда и поговорки правильны…

Гремят орудийные залпы салютов в честь наших побед на фронте. За окном госпиталя кружатся хлопья снега, гуляет ветер, но сквозь белую пелену вижу я, как приближается наша Победа. Она – в армейской серой шинели и в сапогах. Не зажили еще ее раны и не сняты бинты, шагать ей еще много и долго до той черты, где кончается война, но Победа уже в пути. Я вижу, как на заснеженных уральских просторах расцветают яркие отблески московского салюта в честь ее быстрых шагов; вижу, как разноцветные гроздья огней летят по уральскому серому мглистому небу.

Все равно мы скоро победим. Несмотря ни на что! Тянут с открытием второго фронта союзники – не торопятся, что им наша кровь? Враг еще коварен. Радио и газеты на все лады повторяют: умирающий зверь уползает в свою берлогу. И это верно – все мы живем одной мыслью: скорее добить зверя. Мы – это народ, это те, в серых шинелях которые, и те, что стоят за станками, и те, что сеют и пашут землю.

Я думаю обо всем этом, лежа на каталке, ожидая своей очереди к хирургу. Будут снимать гипс, будут смотреть мою ногу. Чувствую, что со мной не очень-то ладно.

Долго заживает моя нога. У тех, кто со мной вместе поступил в госпиталь, дела заметно лучше. Вон тот конопатенький солдат, рядом с которым были подвешены наши носилки в эвакопоезде, ковыляет уже с палочкой по коридору.

Тоже был ранен в бедро, а меня возят на каталке…

Утешаю себя: не бывает, мол, совершенно одинаковых ранений, как не бывает совершенно одинаковых организмов. Но что-то долго не говорят мне ничего определенного врачи. Что меня ожидает?

– Ну как, Лиляна? – озабоченно спрашивает Лена.

– Кто их разберет, этих врачей… Но сегодня вроде хирург смотрел на меня веселее и даже пробормотал, что выкарабкалась…

– Значит, все в порядке! – радуется Лена.

– Не знаю… Вот сейчас, Лена, мне стало по-настоящему страшно. Оказывается, мне угрожала ампутация…

– Ты только не волнуйся. Все страшное уже позади, – успокаивает Лена.

И только теперь я начинаю понимать, почему меня положили в двухместную палату – готовили к операции. Изолировали, чтоб после операции не травмировала других раненых. Вот чему я обязана и знакомству с Леной – ее тоже сначала хотели попытаться оперировать.

Громко шлепая тапками, вбегает в палату дежурная сестра Римма.

– Орлович! У вас скоро вытяжение снимут! Сам главврач сказал, – щебечет она.

– Ну что же, придется заказывать прощальную мессу в честь моих агрегатов, – отзываюсь я.

– Что? Что? – не понимает Римма.

– Да жаль, – говорю, – расставаться с этими погремушками. Все-таки держат, тянут к грешной земле, а то не ровен час улечу на радостях как воздушный шар.

Римма улыбается и бережно поправляет мое одеяло. Лена счастлива за меня. Какая она добрая! Теперь я почему-то верю, что ничего мне не угрожает. Я так радуюсь, что не замечаю ни наскучившей госпитальной обстановки, ни даже тех, кто разделяет мою радость.

Потом я возвращаюсь с небес на землю и чувствую, что радость моя горчит. Чуть горчит оттого, что у Лены ничего не изменилось, что ей ничем уже нельзя помочь. Пусть бы она видела хоть немножко, пусть бы перед ее глазами – не постоянная темень, а хотя бы сумерки только. Нет, на это не согласилась бы она! Не такой человек. Лена – это или уж полная ночь или солнце в руки. Это Лена ведь…

Я много думаю о ней. Сказать о том, что она мне очень нравится и что я привязалась к ней – значит ничего не сказать. Мне просто хочется, чтобы каждый в жизни встретил такой характер, как Лена, и по такому характеру соизмерял свою жизнь, свои поступки...

Мне очень сегодня и хорошо, и горько, потому и вспоминается о хорошем в жизни – о первой любви и о том, что пришлось перестрадать.

Тяжело заболела мама. Мы получили письмо и решали, как быть.

– Тебе, Лиляна, надо ехать к маме. Ей – хуже всех.

– А как же университет?

– Возьмешь на год отпуск.

– А как вы со Стасиком?

– Стасик учиться будет, а я пойду работать.

Мне хотелось высказать Вале, что не только маме – всем нам хуже… Как переживем это горе? Яша… Но зачем слова? Она, Валентина, и так понимает меня.

… В конце марта, взяв академический отпуск на год, я уехала домой, в Борки…

И снова я в родной деревне. Подросла рябинка у нашего дома, ласково веет ветер – он прилетел из-за еще прозрачного леса и спешит успокоить, воробьи дерутся у талых лужиц. Скоро придет весна. Жизнь продолжается, а моего брата уже нет…

Но мне не запомнилось, как пришла и прошла та горькая для нас весна. Все было сумрачно, невесело. Трудно было смириться с тем, что его уже нет в живых.

В который раз я перечитывала короткие скупые письма Яши. Перебрала книжки, которые он привозил или присылал мне, когда я училась в школе.

Смотрят со стены фотографии и кричат об одном: нет, неправда, неправда… По деревенской моде мама собрала их все и поставила в общую застекленную рамку. И почти на каждой – Яша.

Его глаза, его чуть заметная насмешливая улыбка. Красноармеец в буденовке. Курсант. Слушатель Военной Академии. Комбриг… Вот еще одна – веселый, высокий статный загорелый мужчина в белом костюме на берегу моря. Рядом его семья – счастливая Валентина и белобрысый Стасик. Все смеются…

А Яши больше нет…

В народе говорят: пришла беда – отворяй ворота. А у меня получилось вопреки пословице. Вслед за большим горем пришла ко мне первая моя любовь. Коля Савчук.

Помню до маленькой черточки, как это началось.

Я сижу у раскрытого окна. Тянет ко мне молодые свои листики печальная рябинка. Скоро вечер. Передо мной раскрытый учебник Новой Истории – я пытаюсь заниматься, но ничего не получается. Все валится из рук, ничто не радует. А вокруг кипит жизнь. Вот пробежали мальчишки, шлепая босыми пятками по пыльной дороге, кто-то играет на гитаре, у соседей ставят самовар, и горьковатый дымок от еловых шишек щекочет ноздри. У колхозного клуба заливается гармошка. Вот так и всегда: кто-то умер, а жизнь продолжается. Не остановилась жизнь, не померкло солнце. Все идет своим чередом.

– Сумерничаешь, соседка?

Я вздрогнула. У калитки – Коля Савчук, а с ним Петрусь.

– Заходите.

– Мы – в клуб. Не составишь ли компанию? Говорят, картина хорошая сегодня будет.

– Идем, Лилянка. Живым – жить… – солидно изрекает Петр.

Неужели это тот самый маленький Петрусь, которого я когда-то в детстве больно обидела! (Когда сахарный песок ели…) Как Петрик вытянулся, повзрослел. Старается говорить серьезно и значительно. В другой раз я бы пошутила над его этой манерой – подражать старикам. Но сейчас… Не до шуток мне сейчас. Идти куда-то в клуб, зачем? Что я там забыла? И какое может быть веселье, когда даже солнышку не рад. Вот идет мама. Она едва-едва оправляется после нашего горя – осунулась, заметно постарела.

Мама только что подоила корову и сейчас, видно, будет потчевать нас «сыродойчиком». Она видит Колю и Петрика и понимает, что зашли ребята за мной. И знает она, что я не хочу идти в кино, но добрый взгляд ее грустных глаз говорит, что я неправа, что надо жить и нельзя все время думать об одном.

– Соберись-ка, Лиляна, да поживее. А то опоздаете.

– Не хочется.

– Иди, иди, – настойчиво говорит мама.

И я покорно открываю дверцу шифоньера.

Кто не знает веселых деревенских вечеринок? Там есть свои «царицы бала», там живо распоряжаются свои «церемониймейстеры», там танцуют до самозабвения и вальсы, и кадрили, и польки, пляшут барыню, гопака и веселый белорусский танец «лявониху». Танцы приходят посмотреть и стар и млад. Пожилые тетушки важно сидят у стены на скамейке и судачат, чья дочь или сын «повиднее», детишки снуют по залу и мешают молодежи веселиться. Люди отдыхают. А когда совсем стемнеет, начинают показывать кино. В зал клуба набивается столько народу, что не повернуться – все сидят, тесно прижавшись друг к другу, а те, кому не хватает места, устраиваются на подоконниках, дети «оккупируют» пол у самого экрана.

В тот вечер все было как обычно. Тягуче пел маленький мотор, который вручную заставляли работать: он давал свет. То и дело рвалась лента, и тогда рядом с аппаратом, где-то за нашими спинами, вспыхивала маленькая лампочка, и каждый раз я видела совсем близко смуглое Колино лицо, чуть растрепавшиеся волосы, непокорную прядку, упавшую на лоб, чувствовала обращенный на меня взгляд. Радостный блеск Колиных глаз обжигал меня, и очень хотелось, чтобы почаще рвалась старая кинолента. Потом Коля будто нечаянно положил свою широкую ладонь на мои пальцы, и я не отняла руку. Мне хотелось, чтоб мы были совсем одни, и тогда бы я могла поглядеть в его темные блестящие счастливые глаза. Коля, Колька-Цыган, как же я раньше не замечала, что ты лучше

всех парней, которых пришлось мне встречать. Пусть ты немного неловок, пусть у тебя совсем не модная, плохо сшитая рубашка, пусть ты не видел Москвы и даже не подозреваешь, сколько там чудес, но все равно ты самый лучший.

…Домой мы возвращались втроем – Коля, Петрусь и я. Только Петрик что-то отстал по дороге, и Коле пришлось провожать меня до калитки. Мы ни о чем не говорили, молча прошли в наш маленький палисадник и уселись на лавочке. У нас теперь много цветов. А когда-то каждый клочок земли мама моя старалась использовать под огород. Теперь же огородные грядки потеснились и уступили место клумбам с цветами. Я чувствую сильный запах душистого табака. И он – этот табак – так действует на меня, что я не могу сразу начать разговор с Колей. Я бесцельно вожу ладошкой по гладко выструганной скамейке. На Колю, по-видимому, так же ошеломляюще действуют цветы – он тоже сжимает край скамейки…

– Как ты там в Москве жила, Лиляна? – наконец начинает разговор Коля.

– Училась.

– Расскажи, какая она – Москва?

– Я не знаю, о чем тебе рассказывать. Я и сама еще не все видела.

– Расскажи о метро.

Я стала говорить о метро, о московских улицах, об университете. Но почувствовала, что Коля слушает меня как-то рассеянно. Значит, я плохо рассказываю. Мне стало обидно, что не умею я передать все те чудеса, которые полонили меня по приезде в столицу. Я смущенно замолчала. Ну что же ты, спрашивай… Но Коля тоже молчал. Только слышались ночные шорохи да далекий голос гармоники. Кто-то запел и нежная песня – тихая и задумчивая – казалась прилетевшей из далекого неизвестного мира. Неподвижно стояла печальная рябинка, чуть белели гордые головки ее соцветий. Что же ты ни о чем больше не спрашиваешь, Коля? Или неинтересно тебе слушать меня? Ну не спрашивай,

только посиди еще. Ладно?

Но Коля не услышал моих бессловесных просьб. Он поднялся со скамейки и несмело протянул мне руку.

– Так я пошел, Лиляна. Завтра вставать чуть свет.

– На работу?

– А куда же еще, – улыбнулся он. – В МТС.

– До свиданья, Коля.

Затихли Колины шаги, а я все еще сидела в палисаднике. Что меня так взволновало? Я же знаю Кольку Савчука с детства. Колька-Цыган. Красивый парень. Говорят, что даже приезжие артистки на него заглядывались. Это Вера так говорит. А Валентина все убеждала меня, что не в красоте дело. Конечно, не в красоте. Это верно. А сама влюбилась в моего брата. А Яша был красивый – это все признавали. Я понимаю, что нельзя влюбляться только за смазливое лицо. Но... Но почему мне так нравится глядеть на Колю? Какой у него характер, я не задумывалась. Знаю, что он справедливый. Но разве можно перебирать каждую черточку отдельно и взвешивать – это нравится, а это нет? Нравится весь человек, все нравится!

Я первый раз так думаю о парне. И себе удивляюсь. Ведь мечтала об ученом или летчике. А понравился деревенский тракторист. Ну что?! Вот пусть он сейчас же вернется, и я скажу ему все-все. Это первый раз со мной такое. Разве тот, дежурный мой провожатый, была любовь?

И вспомнилось:

– Инезилья!

– Ты опять дразнишься, Стасик?

– Инезилья, выползай на балкон! – кричит мой племянник из кухни.

– Что тебе? – сердито отмахиваюсь я. – Не мешай, я к семинару готовлюсь. Некогда мне шутить.

– Инезилья, я не шучу. Сейчас раздастся серенада, – упрямо паясничает Стась. – Ну взгляните же, миледи. Дежурный снова на посту, у булочной.

– Скажешь тоже…

Но я подхожу к спущенной гардине и тихонько выглядываю из балконного окна. Действительно, стоит. Это тот, мой постоянный провожатый, мой однокурсник. О, какой нарядный. Да, он убийственно шикарен: надел новый темно-синий костюм. Ишь, какие ватные плечи построил ему портной. Последний крик моды! Голубая рубашка цветом спорит с небом. Синий галстук – короткий, завязан большим узлом. Модный галстук – как меч у древнего римлянина. Забыла только, в каком это веке были у римлян короткие мечи – надо будет заглянуть в учебник. Ничего не скажешь – очень модный юноша стоит у дверей булочной, на другой стороне улицы. И собой, кажется, неплох. А впрочем, какое мне дело до него? Я должна готовиться к семинару. И откуда Стасик (вот проныра!) узнал о том, о модном? Видел, наверное, как тот провожал меня из библиотеки. Вот теперь и дразнится.

– Инезилья! Докладываю: воздыхатель переходит улицу и направляется к нашему подъезду. Сейчас позвонит к нам.

– Я не хочу, чтобы он приходил.

– Нельзя быть такой коварной, Инезилья-Лиляна!

– Стась, соври ему что-нибудь. Стась, меня нет дома!

– Инезилья, ложь – страшный порок. Меня накажет мама.

– Стасенька...

– Ну, ладно. Грех на твою юную душу, Инезилья!

Не знаю, как отвечал Стасик тому, кто осмелился позвонить у нашей двери. Но любопытно, что ему сказал мой лукавый племянник?

– Стась, а Стась, что ты ему сказал?

– Ничего особенного.

– Стасенька, что?

– Примерно следующее: – Достопочтенный сэр! Какая жалость – мы забыли, сколько ступенек у нашей лестницы. Не окажете ли вы мне услугу – мне и нашей семье – посчитайте, пожалуйста, сколько же все-таки ступенек у нашей лестницы. Это можно сделать, если спускаться вниз и считать. Подниматься

наверх не стоит. Крикните снизу, я услышу.

– Стасик, как ты мог!?

– Шучу, Инезилья. Я вежливо доложил, что тебя нет дома. Господи, прости мне мой грех, – и Стасик комически осенил себя крестом.

Так и ушел тот нарядный парень. Он, наверное, хороший. Но что я могла сделать? Не была это моя любовь…

А здесь… Целый день не выходит из головы: Коля… Коленька… Колька-Цыган…

Проснулась я рано утром и столько дел переделала в доме. Чистила, мыла, скребла и без того чистые наши полы. По-новому переставила книги. Нарвала цветов и сделала красивый букет. Накрыла стол подкрахмаленной скатертью. Пусть теперь приходит Коля.

А он и вправду пришел вечером, а потом и вечером следующего дня, и еще, и еще – много вечеров подряд.

Что-то зачастила ко мне Вера. Никогда мы с ней не были особенно дружны, а теперь она стала приходить очень часто. Не знаю почему, но я испытывала к ней какую-то неприязнь. Мне не нравилось в ней все – и стянутая широким клеенчатым ремешком тонкая талия, и остренький взгляд быстрых бойких глазок, и даже носик ее – остренький, точно принюхивающийся, мне не нравился. Вера все больше о Коле разговор заводила. Все интересовалась, почему это он стал к нам приходить. Я безразлично отвечала:

– Москвой интересуется.

– Как же, как же, – поспешно соглашалась Вера. – Он у нас очень идейный. Политик.

Я замолкала и продолжала заниматься каким-нибудь своим делом. Но Вера не унималась, снова заговаривала о Коле:

– Политик-то политиком, а и потанцевать не прочь. Всю эту зиму мы с ним так идейно отплясывали. И сейчас ноги гудят. И домой этот политик не забывал меня провожать.

– Интересно было?

– Да когда как, – признавалась Вера. Иногда уж очень мудрено

рассуждать он принимался. А нам, девушкам, что надо? Чтобы веселее было… – хихикала Вера. – Ну я и переучивала его потихоньку.

– Успешно?

– А ты что интересуешься? – настораживалась Вера. Но потом, тряхнув мелко завитыми кудряшками перманента, продолжала: – Ну как тебе сказать… Последнее время вроде все и налаживаться у нас начало.

– Лед тронулся, – иронизировала я.

– Вот-вот, правильно ты сказала, – не понимала меня или делала вид, что не понимает. А потом без всякого перехода бесцеремонно выспрашивала: – А у тебя, Лилянка, видно, важный парень в Москве теперь завелся?

– Ты думаешь?

– А как же! Ты вон какая стала – совсем городская. И одеваешься как на картинках нарисовано и волосы по-городскому причесываешь. Еще красивее стала, чем была.

Вера хватала меня за руку и убеждающе шептала:

– Ну зачем тебе сдался деревенский неотесанный малец? Ты в городе и не такого можешь подцепить…

– Не хочу я никого цеплять…

И мне досадно было – зачем она затевает разговор об этом?

Мне очень хотелось, чтобы мой секрет как можно дольше никто не знал…

Я тщательно отгладила светлый полотняный костюмчик. Надела вышитую белую батистовую кофточку. Хлоп-хлоп друг о дружку, и ссыпался на землю лишний зубной порошок с моих парусиновых туфель. Полдня висели они на плетне чистенькие, вымытые, набеленные – ждали, когда я их надену. Вот теперь все в порядке.

Принарядилась, взглянула в зеркальную дверцу шифоньера – кажется, ничего. Чуть-чуть надушила волосы (Валентина говорила, что много духов – дурной вкус). Снова оглядела себя со всех

сторон. Вот теперь можно идти в клуб. Там сегодня танцы. Мне совсем не хочется танцевать, но Коля очень просил прийти. Он предупредил, что после работы забежит в правление, а потом придет в клуб.

Я, кажется, иду слишком быстро, тороплюсь. Это неприлично. Валентина говорила, что девушка никогда не должна показывать своей радости от встречи. А я не могу так. На моем лице написано настоящее счастье – я сейчас увижу Колю.

Вот и знакомое с детства здание. Клуб. Перед входом разбиты большие круглые клумбы. Пышно цветут яркие цветы. Перед клумбами скамейки. А на скамейке… Постойте, это невероятно… На одной из скамеек сидит Колька-Цыган, а рядом с ним Вера. Ишь, как она размахивает руками. Болтает вовсю. Трещит как сорока. Наверное, и щеки раскраснелись, и глазки так и стригут, так и стригут. Вот она хлопнула Колю по плечу, подталкивает локотком. Да как она смеет? Но Коля не возмущается. Ему, видно, это все даже нравится. Он хоть бы что на эти пошлые заигрывания. Смотрите-ка, улыбается… Значит, ему интересно с этой… Букашкой. Ну и пусть! На здоровье!

Я остановилась. Не могу ступить ни шагу. Ноги мои приросли к стежке. Нет, не пойду я в клуб. Мне нечего там делать. Пусть уж Коля улыбается там на скамейке этой черненькой Букашке.

А он и в самом деле протянул Вере руку, и они ушли. Ушли вместе. Он и забыл, как упрашивал меня прийти в клуб.

Я тихонько бреду домой. Тереблю сломанную веточку, безжалостно мну ни в чем не повинные листья. Смотрю под ноги, и жалкими кажутся мне мои только что побеленные парусиновые туфли. Для кого старалась? Кто увидит тебя? Вырядилась, а он и смотреть на тебя не хочет. Танцует там себе с Веркой-Букашкой. Она улыбается ему, скалит свои мелкие зубки, да хитренько заглядывает в глаза. А что?

Она не такая уж и плохая – эта Вера. А чем я, спрашивается, лучше? И такая пакостная у тебя манера, Лиляна, давать людям

прозвища. Нехорошо так относиться к людям. Вера…

– Что же ты, сестренка, – люди в клуб, а ты домой?

– Ох, Петрусь, и напугал ты меня.

– Домой?

– Голова что-то разболелась.

Петрусь смотрит на меня как-то бочком, искоса, а потом делает уморительно-плутоватое лицо и шепчет на ухо:

– А зря ты домой. Кто-то ждать будет.

Я нахмурилась:

– Никто не будет ждать.

– А Цыган?

– Нашел себе другую цыганку. У них, у цыган, Петрик, это очень просто.

– Пойдем, – тянет меня за руку Петрусь. Но я резко вырываюсь и шагаю к дому.

Я не захожу в комнату. Сижу в палисаднике и слушаю, какая заливается в клубе гармошка, заливается на разные голоса. Танцует там Коля с Веркой-Букашкой. И у Веры сейчас счастливое лицо. И большая смуглая Колина ладонь обнимает эту Букашку за талию. А ты сиди здесь, московская студентка, в мамином палисаднике и слушай, как растет трава. Изучай! Полезно тебе. А еще полезнее подумать обо всем хорошенько и не считать себя неотразимой. И что ты из себя представляешь? Что ты можешь? И за что тебя должен любить такой парень как Коля? Он хорошо работает, он знает себе цену, он… Ну какой бы он ни был, а он лучше всех, красивее всех на свете. Но он не обращает на тебя внимания. Больше того. Позвал в клуб, а там встретился с другой и забыл о тебе. Сиди, студентка, в палисаднике и любуйся в одиночестве цветами. Пахнет душистый горошек. Как тогда…

А почему, собственно, ты, Лиляна, сердишься? Он же тебе ничего особенного не говорил, и ты сама всегда держалась с ним чуть-чуть свысока. Вот и оставайся одна. А Вера не смотрит на него так как ты. А как она смотрит? Снизу вверх, заглядывая в глаза? Нет! Я никогда ни на кого так смотреть не буду. А сама,

сверху вниз? И так не буду! Должно быть все на равных.

Ну философствуй, рассуждай, Лиляна, а кто-то танцует с кем-то в клубе. Ну и пусть! Нет… не пусть. Тебе никогда еще не было так плохо. Он же приходил к тебе несколько вечеров подряд, и вы сидели с ним вот на этой самой скамейке. И отчего он приходил? Слушать твои рассказы о Москве? И рассказы о Москве и… И рассказчицу слушать приходил. Интересно ему было. А теперь… А теперь стало неинтересно. А ты вообразила. Нет! И все-таки приходил он тогда просто ко мне. Пусть бы не было никаких рассказов о метро и о московском университете. Да, он внимательно слушал, но не бывает такого лица, не бывает таких глаз, если слушаешь даже очень интересный рассказ. Но… Но почему он был таким веселым с Веркой-Букашкой? Почему он пошел танцевать с ней? Хорошо, а тебе-то что? Значит, ты просто влюбилась в него, Лиляна.

Играет гармошка в клубе. Поют хором нежную песню. И Коля поет, и Вера… А может быть, они потихоньку ушли и бредут теперь по густой траве, и не чувствуют, как у них промокли от той росной травы ноги…

Скрипнула калитка. Кто-то вошел, но не обязана я поворачиваться и глядеть, кто это. Пусть себе идет своей дорогой. Кто-то повел веточкой по моей шее. Тихонько, щекотно. Рядом с моими набеленными парусиновыми туфлями стоят начищенные ботинки, и они совсем не мокрые. Не ходили они по густой росной траве! Рядом с моими туфлями Колины ботинки. Любопытно, что ты скажешь теперь, Лилянка? Трудно и придумать, но надо быть гордой.

– А почему ты не пришла в клуб, Лиляна?

Я повернулась к Коле и удивленно спросила:

– И как ты это заметил?

– Я ждал тебя.

– И не терял времени, тем часом танцевал с Верой.

– Она сама пригласила меня…

Коля положил ладони мне на плечи. Какие у него большие,

сильные и ласковые руки…

– Иди к своей Вере. Ухаживай за ней.

Ой, что это я? Зачем я так говорю. Ведь с головой выдала себя. Что теперь подумает обо мне Коля?

– Я ни за кем теперь не смогу ухаживать, Лиляна. Ты же сама знаешь.

– Не знаю! Иди к ней…

Коля нагнулся ко мне. Я видела его лучистые улыбающиеся глаза. И… какой он ласковый… А впрочем, разве бывает это все как-то иначе? Не знаю… До этого ни один парень никогда не целовал меня…

Потом Коля терпеливо объяснял мне, что я несправедлива к нему. Вера, как только узнала, что Коля приходил к нам, стала донимать его разными словечками. Сочинила частушки и распевала их, когда он появлялся поблизости. Коле это было неприятно. Почему она так делала? Ну, это, пожалуй, объяснимо. Но он, Коля, никогда ничего подобного к ней не испытывал. Танцевал? Да, это было. И провожал домой? Ну что ж в том? Так привыкают люди друг к другу? Об этом он не думал. Может быть. Но зачем бояться того, что могло случиться? Теперь он встретил ту, о которой всегда думал. Да, всегда думал! Ну и что из того, что мы знаем друг друга с детства? А увидеть он смог свою Лиляну только в эту печальную для нее весну. Так бывает.

С того памятного вечера началась моя первая любовь…

* * *

Нестерпимо быстро бежит время. Ждешь-ждешь Колю. Он все время занят на работе. А когда у него появлялась свободная минутка, он бежал ко мне. Мы не могли ни наговориться, ни насмотреться друг на друга. Это очень трудно рассказать. Слов нет у человека, чтоб описать, как все бывает. Счастье никто и никогда еще не рисовал…

Иногда мы уходили в лес. Шли по еле заметной тропинке, собирали душистую землянику. Сквозь густую листву деревьев

глядело на нас ласковое небо, теплое солнце светило нам, улыбались белые облака. Мы и говорили мало. Как-то без слов все было понятно. Идешь по густой траве, и она мягко касается твоих ног, цветы приветливо кивают скромными горделивыми головками. На душе становится так легко и спокойно. Уплывает, рассеивается большая туча тяжелого горя.

Но иногда мне становилось тоскливо, я вспоминала брата и, наверное, становилась тогда сумрачной. Коля до маленькой черточки угадывал малейшие перемены моего настроения и в такие минуты пытался развеселить меня. Как-то он рассказал одну историю о Петрусе.

– Хочешь узнать, как Петрусь чемпионом по бегу стал?

– Петрик? Это не похоже на него. Такой увалень. Нет, не тот случай.

– Самый тот! – уверял Коля. – Да еще как бежал.

Я не верила.

– Если бы захронометрировать тот петрусев бег, то, пожалуй, на мировой рекорд потянул бы, – интриговал меня Коля. – Рассказать?

– Что-то не верится. Петрусь такой степенный мужичок. Он даже на пожар коня не спеша запрягал бы...

– А вот слушай. Прошлым летом шел как-то Петрусь с ночного. Идет себе потихоньку. Глаза слипаются. Ночью мало удалось поспать. Лошадь отбилась, искать пришлось. Нашли под самое утро. Так вот бредет Петька по скошенному лугу напрямик, домой стремится. Видит – стоит копешка сена. Небольшая такая копешка, за один раз увезешь, если лошадь хорошая. И сенце приличное – мелкое такое, душистое. У Петрика как раз шнурок у ботинка развязался. Присел малец у копешки, шнурок свой завязывает. Только не скажу тебе, как это вышло, что завязывал он свой шнурок, завязывал, да и задремал невзначай. Да и сено такое, что и не такого соню, как Петрусь, с ног свалит – душистое, свежее сено, и утро совсем раннее, только солнышко взошло, роса не высохла. Ну как тут не прикорнуть полчасика?

А дома мамка тем часом блинков испечет. Вот и ладно будет. Спал, видно, Петрик недолго. Разбудило его что-то. Это *что-то* зашевелилось у него на спине, под рубашкой. Тронул рукой – скользкое, извивается. Как вскочит Петрусь на все четыре конечности, как бегун на старте. Даже ногами лягнул. (Правда, спортсмены так не брыкаются, но ведь Петрик до этого не был чемпионом). А потом уж прямо по-спортивному: толчок руками от земли – не хватало только пистолетного выстрела для старта, да вряд ли в тот раз Петрусь стал бы дожидаться выстрела – и… Потом – стремительный бросок – бег по пересеченной местности. Летит Петрусь во весь дух через кустики, через овражки, через криницы перемахивает; ни дать ни взять – танцор в балете. Классика! На пути его канава – осушение болот проводили. Большая такая, глубоченная канава. Ее-то и в доброе время надо обдуманно перескакивать. Ну а Петрусю где уж там думать. Как сиганет он через эту канаву! Да не рассчитал малость и съехал, бедняга, на всех четырех точках. Только нацарапал обеими пятернями все десять глубоких бороздок на стенке канавы.

– Ой, маточки… – шепчет.

Упал в грязь, а подняться и сил не хватает. Пока бежал, не чувствовал вроде ничего, а как сделал на дне канавы вынужденную остановку, снова зашевелилось это *что-то* на спине под рубашкой.

Выкарабкался кое-как Петрик, и снова – бежать. А когда домчался до околицы, сообразил-таки распоясаться. Глянул, а у ног, у самого ботинка здоровенный червяк извивается. Наступил на него Петрик со злости – было отчего так бежать…

Пришла осень. Колю призвали в армию. Грустные это были проводы. Целый вечер до глубокой ночи играла в клубе гармоника. Пели песни. Потом Васька-Тетеря вышел на сцену и бодрым голосом говорил правильные слова, а мне было почему-то неприятно, что именно Васька говорит те слова, неприятно и немного грустно.

…Утром я пошла провожать Колю. Как сейчас вижу –

мелькнула широкая Колина спина за поворотом дороги и скрылась за покрытыми серой пылью точно бархатными кустами. Я присела на жесткую траву. Ушел Коля. И когда только мы снова увидимся? Время такое беспокойное.

И вдруг:

– Лилянка!

– Ты вернулся?

– Я не мог оставить тебя с таким настроением. Ну что ты так горюешь? Вернусь, отслужу срок и приеду к тебе в Москву. Только ты дождись.

Что я могла ответить ему? Пошлой клятвой, обещанием? Он и так должен знать, что пока жива, буду ждать.

– Коля, ты отстанешь от своих.

Я схватила Колю за руку. Потянула вперед.

– Бежим, Коля. Мы догоним…

Коля пробежал несколько шагов, потом остановился.

– Ну ладно. Иди домой, Лилянка.

– Еще немножко. До озера.

И я тянула Колю в ту сторону, где пыля сапогами, скрылись уже за поворотом новобранцы.

– Далеко тебе будет возвращаться.

– Бежим, Коля…

У озера мы простились. Коля быстро побежал вперед, потом обернулся и помахал мне.

Я до боли в пальцах сжала маленькое карманное зеркальце, которое когда-то «реквизировала» у Коли.

– Колька-Цыган, да ты, оказывается, форсишь, с зеркалом ходишь.

– Это я недавно. С тех пор, как ты приехала.

– Давай его сюда, твое зеркало. Я его конфискую. Нечего тебе быть пижоном.

– Только не это, Лилянка. Я подарю тебе хорошее. Завтра куплю. Это видишь какое, с отбитым уголышком.

– Я хочу именно это.

– Возьми.

А теперь, когда Коли не стало уже видно, я все еще стою на дороге у озерца и крепко сжимаю в руке Колино зеркальце с отбитым уголышком. Я порезала пальцы и не замечаю, как несколько капелек крови упали в густую пыль и зарылись в нее.

Колино зеркальце… Где оно только не побывало со мной... Никаких вещей я никогда не хранила и не пыталась сохранить, а эту вещицу… Везде оно побывало со мной, Колино зеркальце. И здесь, в Челябинске, оно тоже со мной.

Пусть всегда напоминает мне о Коле…

Скоро Коля стал присылать мне письма. Читала сложенные треугольником листки, и мне казалось, что Николай рядом со мной, что он бережно проводит большой своей ладонью по моим волосам. Иногда мне казалось, что я слышу его голос – ласковый, чуть приглушенный. В некоторых Колиных письмах сквозь строчки читалась какая-то непонятная тревога. Я не понимала тогда, что это значит. Видно, Коля чувствовал, что не скоро придется нам встретиться. Он часто просил меня: ждать.

Как в тумане проходили дни за днями. Словно кто-то громоздкий и сильный набросил на меня серое покрывало, и не хватает у меня сил, чтобы выбраться на волю.

Мама поняла, что я не смогу больше так жить.

– Лучшее средство от всех наших бед, работа. Иди-ка, Лилянка, в колхоз. Там нужны люди.

И я пошла на колхозные работы. Убирала картофель, молотила хлеб. Незаметно подкралась зима.

Крадется ночь на мягких лапках,
Вокруг покой и тишина.
И дремлют в белоснежных шапках
И ель, и стройная сосна.

И сквозь гребенку леса робко
Мелькают желтые огни.
Идти полями по сугробам
Манят, манят к себе они.
Возможно, ты с огнями рядом –
И мне спешить, спешить бы надо…

* * *

В феврале 1941 года я снова вернулась в Москву. У меня были сданы экзамены за третий семестр.

И снова учеба. Снова – библиотеки, лекции, книги, книги, книги. Снова долгие сидения за латинскими переводами. Снова «Записки Цезаря о галльской войне».

Когда я попала на фронт, то часто думала: и зачем мне нужна была латынь? Как и чем она поможет в трудную минуту? А теперь, в госпитале, поняла, что неправа была. Все надо будет! И «Записки» Цезаря, и сочинения Плутарха. За то мы и воюем, чтобы нам все это понадобилось.

Лена прислушивается к шелесту моих листков. Поворачивает ко мне лицо свое с незрячими глазами.

– О чем ты?

– Прошлое, Леночка, прошлое. Хочешь послушать стихи?

И я читаю о весне, о детстве, о любви. Лена внимательно слушает.

– Ничего, солдат, надо выдюжить! – грубовато говорит она, и сжала кулаки, словно приросли ее руки к ворсистому одеялу.

– Есть выдюжить! – бодрым голосом отвечаю я, а сама чувствую на щеках своих предательские соленые полоски…